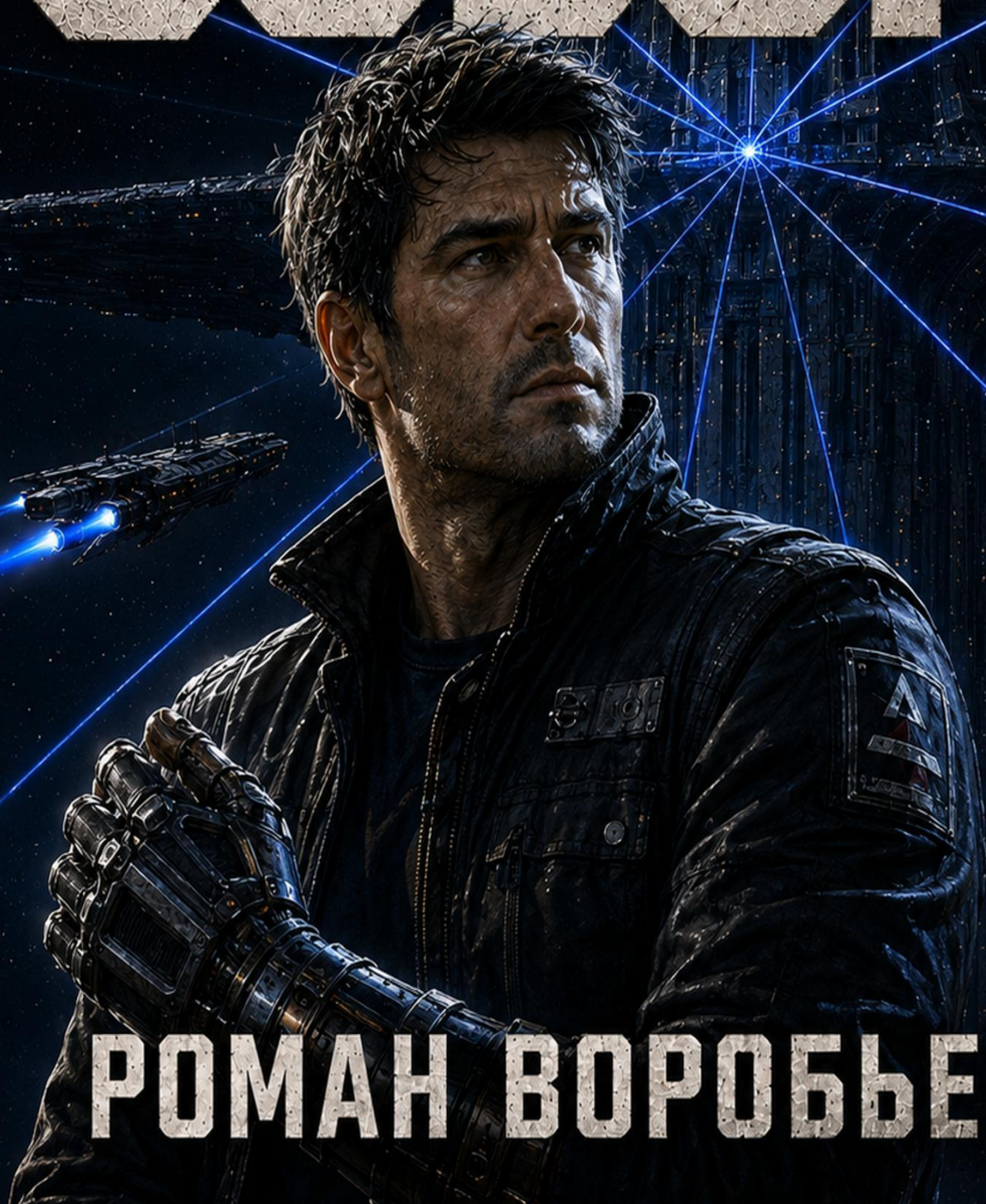


ПОРОТ СОВОР

3



РОМАН ВОРОБЬЕВ

Роман Воробьев
Порог. Собор. Том 3

«Автор»

2026

Воробьев Р.

Порог. Собор. Том 3 / Р. Воробьев — «Автор», 2026

Триста сорок два человека заперты на мёртвой станции за дверью, которую Дан Веко закрыл своими руками. Еды у них на тридцать суток, и одна из уцелевших дверей только что схлопнулась сама. Спасение одно — Собор, станция Строителей, которую Орден Печати триста лет держит песней. Координат у Собора нет, есть только имя. Дан ведёт грузовоз «Молчун» на зов, который слышит не ушами, а костью: чужой инструмент в его нервной системе отзывается на чужую работу. Орден готов накормить лагерь. Цену называют в первый же вечер: Дан должен выйти к алтарю. О тех, кто выходил до него, здесь говорят коротко и в прошедшем времени. Хор поёт без перерыва три века. Что случится, если он замолчит?

Содержание

Глава 1. Тридцать суток	5
Глава 2. Учётён	12
Глава 3. Делёж	18
Глава 4. Нитка	24
Глава 5. Паперть	31
Глава 6. Орден не торгует	37
Глава 7. Строй	44
Глава 8. Именослов	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Порог. Собор. Том 3

Глава 1. Тридцать суток

Лёд шипел на листе обшивки, и Тарас смотрел на него так, как смотрят на подчинённого, который тянет с ответом.

Лист он положил прямо на печь Ошмы, на два кирпича, чтобы не сдуло тягой. Куски льда он нарубил зубилом с кожухов у рельса и свалил горкой. Лёд оседал, темнел по краям и полз к загнутому краю листа, где Тарас подставил жестянку. Вода набиралась медленно. От неё шёл пар, и пар пах железом.

— Который час пошёл? — спросил он, не оборачиваясь.

— Ты сам ставил, — сказал я.

— Я ставил на глазок. У меня руки заняты, а глазок один.

Он ткнул щепкой в жестянку, вынул, лизнул щепку и сплюнул под настил.

— Окалина. — Он отдёргнул руку от края листа и подул на палец. — Слышь, навигатор. Запиши в свой журнал: вода на этой станции с гарниром.

Я стоял у стойки рельса, привалившись левым плечом. Правая рука висела на косынке, серая и сухая, и я её не чувствовал совсем — ни настила под локтем, когда садился, ни тепла от печи, до которой было полтора шага. Док снял с неё повязку вчера и бинтовать не стал: бинтовать было нечего. Граница стояла у ключицы вторые сутки. Ровно там же, где встала после порога.

Лагерь просыпался вокруг нас, как просыпается любое место, где у людей есть тюки и нет дома. Сходненские сидели у общей печи в два ряда, грелись плечом к плечу. Кто-то перематывал портянки. Мимо двое мотористов с каравана катили порожний кислородный баллон, катили лёжа, и баллон бухал по стыкам плит: бух, бух, тихо, бух. Тихо — это там, где под плитами был не металл, а камень станции. Чёрный камень опор глотал звук и отдавал тепло. Тарас третьи сутки подходил к нему и стучал ключом, и камень не отвечал ни разу.

— Восемьдесят две порции, — сказала Ошма.

Она сидела на ящике у плиты, между колен мешок сухого концентрата, в руке мерная кружка на четверть литра. Кружку она набирала с горкой, снимала горку ребром ладони и сыпала в миску. Считала вслух не порции, а кружки. Между кружками она подбирала с плиты обломок мела и катала его в пальцах, и мел крошился, и крошка сыпалась ей в миску вместе с концентратом. Она этого не замечала.

— Ошма, — сказал я. — Мел.

Она посмотрела в миску. Пожала плечом и сыпала всё обратно в общую.

— Хуже не станет, — сказала она. — Он из той же ямы, что и мы.

Аглая пришла со стороны рукава, и я услышал её раньше, чем увидел: ключи и гвоздодёр на поясе звякали в ритм шагу. Она встала у плиты, посмотрела на лист с талой водой, на жестянку, на горку льда у стойки. Ничего не сказала про воду. Отцепила от пояса флягу, отвинтила крышку, завинтила обратно и не отпила.

— Считай при мне, — сказала она Ошме.

Ошма выпрямила спину. Достала из-за пазухи тетрадь приливов, ту самую, со Сходней, с распухшей от сырости обложкой, открыла на чистом развороте и начала считать вслух.

Считала она так, как считают люди, которые всю жизнь делили мало на многих. Судовые запасы семи вымпелов, сведённые в одну ведомость: концентрат в банках, галеты, брикеты белкового, четыре мешка крупы со сходненского катера, две бочки соли, которую есть нельзя, а выбросить рука не поднялась. Триста сорок два человека. Восемьдесят два в лагере, остальные по бортам. Норма — та, при которой работают, а не та, при которой лежат.

— Тридцать суток, — сказала Ошма. — Если никто не ворует и никто не рожает.

— Двадцать восемь, — сказал Тарас от печи. — У тебя сходненские считаны по нижней норме. Они таскают баллоны. Таскают — едят.

— Они таскают на моей норме двенадцать лет.

— На Сходнях у них была рыба.

— У них была тухлая рыба.

Аглая подняла ладонь, и они замолчали. Она подошла к плите, к тому месту сбоку, где чугунок был чистый, и подала Ошме мел, который та так и катала в пальцах.

— Пиши. Тридцать суток. Внизу подпиши дату.

Ошма писала медленно, крупно, вжимая мел в чугунок. Мел скрипел. Скрип слышали в первом ряду у печи, там смолкли на полуслове, и следом смолк второй ряд. К тому времени как она подписала двадцать седьмые сутки, весь лагерь смотрел на плиту.

Тридцать суток. Я смотрел на белые буквы по чугуну, и в голове у меня само собой пошло не про еду. Пошло про то, что это меньше, чем срок, который назвала Рада, уходя в тихую дверь. Тридцать девять. Она вернётся, а тут уже девять дней как будет нечего делить.

— Воздух, — сказала Аглая.

— Воздух хуже еды, — сказал Тарас и наконец повернулся от своего листа. Он вытер ладони о бёдра, оставив на комбинезоне два мокрых следа. — Я ночью прошёл по всем семи. Скрубберы у нас судовые, капитан. Их считали на экипажи. На Молчуне это пятеро, а дышит на нём одиннадцать, с людьми Клема. А в кармане сейчас лежат и дышат восемьдесят два и печь. Печь тоже дышит.

— Считай числами.

— Числами: к вечеру в кармане тяжело. К утру выравнивается, потому что ночью половина уходит спать на борта. Пока держит. Если люди бросят уходить на борта — не удержит.

— Через сколько?

Тарас пожал плечами и посмотрел на свои руки. У него это значило, что он не хочет говорить цифру, за которую с него потом спросят.

— Раньше тридцати суток, — сказал он. — Точнее скажу через трое.

Аглая перебрала ключи на поясе. Дошла до третьего от пряжки, остановила пальцы.

— Вода?

— Вода — единственное, чего у нас тут больше, чем надо. — Тарас пнул носком горку льда. — Она на кожухах намерзает быстрее, чем мы её режем. Я сегодня четыре ведра натопил, и мне за это ничего не было.

Он сказал это без своей обычной подачи, без свиста сквозь зубы, и никто не засмеялся. Сходненские у печи по-прежнему смотрели на плиту с цифрой.

Аглая повернулась ко мне. Она умеет так поворачиваться, что человек рядом сразу понимает: сейчас будут не про воздух.

— Дан.

— Слышу.

— Ты вчера в двадцать два ноль пять написал в новом журнале два слова. — Она смотрела мне в лицо, ровно, как в опись. — Курс — Собор.

— Написал.

— Как ты его туда проложишь, я не спрашиваю. Спрошу другое. — Она кивнула на плиту. — Ты должен успеть раньше, чем эта надпись станет неправдой. Собор — не мечта у тебя над койкой. Это единственное место, где триста сорок два рта могут есть, дышать и уйти отсюда. Ищешь дорогу с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не найдёшь.

Я не ответил сразу. Слева, где на камне сидела Ошма, я слышал не ухом. Слышал челюстью и жилой на шее — той, что почернела до ключицы. Станция под нами дышала. Ровное медленное движение, шире любого такта, который я до этого разбирал: будто под плитами

лежит нечто размером в километры и делает вдох так долго, что я не успеваю дожидаться конца. Я поймал это вчера ночью, впервые за весь рейс, и до сих пор не знал, как это называть.

— Отец сказал: ищи Собор с именами, — сказал я. — Не координаты. Имена.

— И что это значит?

— Пока — что искать надо не по картам.

Аглая отвинтила крышку фляги и завинтила обратно.

— Двадцать восемь суток, — сказала она. — Я беру срок Тараса, а не Ошмы. Работай.

Ошма положила мел на край плиты и вытерла ладони о колени, оставив на штанах две белые полосы.

Смотровая эстакада висела над пустотой на уровне второго причального яруса, и перила там были не наши: чёрный камень, отлитый в форме, которой не пользовались люди. Тёплый на ощупь, как всё здесь. Я держался за них левой рукой и смотрел наружу.

Дверей было пять.

Первый раз я увидел их с борта, через круговой визир, и тогда они мне показались провалами. Отсюда, вблизи, было понятно, что это не провалы. Это стоячие овалы в пустоте, каждый в сотни метров, матовые, как будто в них налито молоко и оно не выливается. Они висели вокруг станции неровным венцом: две ниже уровня причалов, одна прямо напротив нас, две по верхней дуге, дальше и мельче с виду. Свет от них не шёл. Они просто были светлее, чем то, во что мы смотрели.

— Ты моргаешь через раз, — сказал док.

Он стоял у меня за левым плечом, где стоял теперь всегда, и катал в пальцах незажжённую папиросу.

— Я считаю, — сказал я.

— Считаю вслух.

— Пять.

— Пульс.

Он взял моё левое запястье, глядя мимо, на двери. Подержал.

— Восемьдесят четыре. — Он отпустил. — Дан. Ты сейчас скажешь мне, что тебе нужно тронуть их Ключом, чтобы понять, какая куда ведёт.

— Мне нужно тронуть их Ключом, чтобы понять, какая куда ведёт.

— Нет.

— Док.

— Нет. — Он убрал папиросу за ухо и посмотрел на меня прямо, чего почти не делал. — У тебя граница стоит у ключицы второй день. Первый раз с начала рейса она стоит, а не идёт. Я не знаю, почему она встала. Я не знаю, что её сдвинет. Я знаю только одно место, где ты каждый раз брал займы и каждый раз платил телом, и это место сейчас висит перед тобой в количестве пяти штук.

— Я не собираюсь входить.

— Ты не собирался и в прошлый раз.

Рина сидела на корточках у щитка на эстакаде, разложив на коленях приёмник на ферритовом стержне, тот самый, собранный из хлама на второй день за Кромкой. Наушник висел у неё на шее. Она вела штырём по диапазону медленно, как ложкой по дну банки.

— Ноль, — сказала она.

— С утра ноль или сейчас ноль? — спросил я.

— Всегда ноль. — Она подняла голову. — Дан, это не тот ноль, который «никто не передаёт». Это ноль, которого не бывает. Смотри.

Она щёлкнула тумблером, и в динамике не появилось ничего. Не шипения, не треска, не низкого гула, который в эфире есть всегда, потому что его дают звёзды, провода, сама коробка приёмника.

— Слышишь? — спросила она.

— Нет.

— Вот и я нет. Я его свой собственный шум не слышу. Приёмник греется, ток идёт, стержень на месте — а фона нет. Он как будто в вате лежит. — Она поводила штырём ещё и сдалась. — Я третий день на это смотрю и третий день не понимаю, куда тут девается шум.

— Он никуда не девается, — сказала Дорн.

Она стояла в шаге от перил, в куртке со срезанными погонами, и в оптический протез на левом глазу смотрела на нижнюю пару дверей. Смотрела давно, не двигаясь, и стояла так, что даже здесь, за краем всех карт, было видно двадцать лет службы.

— Объясните, — сказала Рина.

— Мы стоим внутри работающего узла. — Дорн говорила ровно, как читают из формуляра. — На узлах Гильдия ставит посты, а у постов есть регламент: приёмники не проверяют по фону, потому что фона нет. Я это видела дважды. Оба раза на закрытых узлах, в трёхстах световых отсюда, и оба раза я думала, что аппаратуру мне подсунули битую.

Она наконец повернула голову.

— Это значит, что станция под нами не мёртвая. Это значит, что она работает и держит вокруг себя объём, в котором ничего лишнего не звучит. И это значит третье, что вам не понравится. — Она подняла подбородок в сторону дверей. — Пять открытых створов вокруг брошенного узла — это не подарок. Это оставленное включённым оборудование.

— Оно нас вывезет отсюда, — сказал я.

— Оно вас куда-то доставит. — Она вернулась к своему протезу. — Веко, я двадцать лет писала протоколы по узлам, которые люди бросали в рабочем виде. Там всегда одно и то же. Створы стоят открытыми, потому что их некому закрывать. Пока некому — они держатся. Потом кто-то или что-то доходит до пульта, и они перестают держаться. И никто не спрашивает, успел ли ты выйти.

— У вас есть, чем это подтвердить?

— У меня есть шесть закрытых дел и один сгоревший протез. — Она сказала это без нажима, как факт из описи. — Не ходите в них наугад. Сначала узнайте, какая куда.

— Для этого мне надо их услышать.

— Для этого вам надо дожить до того момента, когда вы будете знать, что слушаете.

Док хмыкнул. Это был первый звук одобрения, который я услышал от него за три дня, и он был не на моей стороне.

Я всё-таки открыл Ключ. Не тянулся — просто перестал держать его закрытым, на два вдоха, столько же, сколько держишь спичку, чтобы посмотреть в тёмный угол.

Чернота за срезом расслоилась. Тонкие плоскости, вложенные одна в другую, уходили вниз и наружу, и в них шла та самая медленная волна, которую я слышал утром через камень. Двери на этих слоях были не дырами. Они были стежками. В каждой сходились нити, нити тянулись куда-то за край того, что я мог рассмотреть, и в трёх дверях из пяти они шли ровно, а в двух подрагивали, как провис на растяжке, которую давно не подтягивали.

В левой нижней провис был больше всех.

— Дан.

Голос дока пришёл откуда-то сбоку и снизу. Я отпустил Ключ. Эстакада вернулась, тёплые перила вернулись, и вернулась резь под правой ключицей, короткая, как укол шилом. Ниже ключицы не было ничего.

— Сколько? — спросил я.

— Одиннадцать секунд. — Док уже держал моё запястье. — Сто шесть. Считай.

— Сто. Девяносто три. Восемьдесят шесть. Семьдесят девять...

— Хватит. — Он полез за тетрадью, потом передумал и не полез. — Что ты видел?

— Что две из пяти держатся хуже остальных. — Я вытер губу тыльной стороной левой кисти. Сухо. Крови не было, и это меня напугало сильнее, чем если бы была. — Как растяжка, которую никто не подтягивает.

Рина встала с корточек, прижимая приёмник к животу.

— Хуже — это как?

— Не знаю. Хуже.

— Ты нам сейчас скажешь, что они закроются? — Она смотрела на меня снизу вверх, и наушник висел у неё на шее, и она его не надела. — Дан, у нас тут семь бортов, лагерь за рельсом и еды на тридцать суток. Ты можешь один раз в жизни сказать цифру, а не «хуже»?

— Я не знаю цифру.

— Ты никогда не знаешь, а потом называешь минуту в минуту.

— На Сходнях у меня было четыре тысячи восемьсот двенадцать отметок и сто тридцать четыре тетради. — Я показал подбородком за срез. — А тут у меня пять дырок и три дня.

Дорн повернулась к нам обоим и открыла рот, чтобы что-то сказать.

Она не успела.

Камень под настилом толкнул нас снизу. Не потрянул — толкнул, длинно, глубоко, как будто под станцией повернулось что-то на своей оси и встало обратно. Я почувствовал его коленями и челюстью раньше, чем понял, что происходит. Приёмник вырвался у Рины из рук и грохнул о настил. Док схватился за перила. Дорн не схватилась ни за что: расставила ноги и переждала.

Толчок кончился.

И тогда я понял, что было не так. Левая рука сама сжала перила, и заныли костяшки.

Не было звука. Ни гула, ни скрежета, ни осыпи. Ничего. Камень под нами качнулся беззвучно, и даже баллон, который в этот момент катили внизу мотористы, замолчал — потому что они бросили его и упали на четвереньки.

— Так, — сказала Рина в тишину. — Так-так-так.

Она подняла приёмник, щёлкнула тумблером и поднесла к уху. Опустила.

— Ноль, — сказала она. — Ровно такой же ноль, как был. Он даже не вздрогнул.

К внешнему створу мы пришли в тринадцать десять, и там уже стояли человек сорок.

Створ был на первом причальном ярусе: проём в наружной стене высотой метров в двенадцать, срезанный ровно, без единой заусеницы, и за его срезом сразу начиналась пустота. Ничего между. Никакого поля, никакой плёнки, ничего, чем это можно объяснить, — воздух просто кончался в полуметре от края и дальше не шёл. Тарас в первый день кинул туда гайку. Гайка ушла, воздух остался. Он потом полчаса сидел на корточках у среза и молчал.

Караул Клема стоял у арки и держал людей в трёх шагах от края, разведя руки. Держал плохо: сходненские напирала не от смелости, а потому что сзади напирала другие. Аглая пришла через минуту после нас, встала перед створом боком, так, чтобы её видели все, и толпа сама подалась назад на полшага.

Ошма пришла с тетрадью под мышкой.

Отсюда были видны четыре двери из пяти: обе нижние, дальняя верхняя и та, что напротив. Пятая уходила за обрез стены.

— Что потрянуло? — спросила Аглая.

— Ничего не потрянуло, — сказал я. — Толкнуло. Один раз, глубоко, без звука.

— Повторится?

— Не знаю.

— Дорн?

— На узлах бывают такты. — Дорн стояла у самого среза, ближе всех, и смотрела в протез. — Приливные, механические, любые. Если это такт, он повторится через равный промежуток, и его можно записать. Ошма, у вас часы.

— Часы у меня с четырнадцати лет, — сказала Ошма и открыла тетрадь на коленке. Мы ждали.

Я умею ждать. На Сходнях я ждал прилив по четырём тысячам чужих отметок и дождался минута в минуту. Ждать — это когда ты знаешь, чего именно. Здесь я не знал ничего, и потому первые три минуты тянулись дольше всех.

Ничего не повторилось.

— Четыре минуты, — сказала Ошма.

Кто-то в толпе засмеялся, коротко и не к месту, и сразу замолчал. Молодой моторист с каравана, тот самый, что бросил баллон, начал рассказывать соседу, как у них на Сходнях однажды кузов сел на грунт и все решили, что это конец света, а это был кузов. Сосед слушал, и оба стояли лицом к срезу, и оба не отрывали от него глаз.

— Шесть минут, — сказала Ошма. — Ровно.

Дорн опустила протез.

— Это не такт, — сказала она.

— Что тогда? — спросила Аглая.

— Событие.

Я слушал. Не эфир — Рина уже сказала про эфир всё, что можно. Я слушал станцию, тем, чем теперь слышал: костью челюсти, жилой на шее, слоями за срезом. Медленная волна шла, как шла с ночи. Двери стояли на своих стежках. Левая нижняя провисала.

И вдруг перестала.

Это было ровно так, как когда отпускаешь натянутый трос: не рывок, а исчезновение натяжения. Нити, которые сходились в ней, отпустило все разом, и они пошли в стороны, каждая к своему, будто её там и не было.

— Аглая, — сказал я. — Нижняя левая.

Она успела повернуть голову. Успели повернуть все, потому что я сказал это громче, чем собирался.

Дверь схлопнулась.

Она не хлопнула, не мигнула, не втянулась в точку — она просто перестала быть плоскостью и стала краем. Матовый овал в сотни метров, висевший там с того часа, как мы вошли сюда через порог, сложился по одной линии, как складывают лист бумаги пополам, и линия сошлась сама с собой, и позади не осталось шва. Только чернота, и в ней ничего, на что можно смотреть.

Ни звука. Опять ни звука, и на этот раз это было хуже всего.

Сорок человек молчали.

Потом закричала женщина в задних рядах, коротко, будто её толкнули, и на неё зашикали сразу с трёх сторон, и она замолчала. Кто-то начал считать вслух: «Раз... два... три...» — считал оставшиеся, тыча пальцем за срез, и досчитал до четырёх, и повторил: четыре. Клем шагнул к арке и рывкнул своим держать линию.

Тарас протолкался к нам сбоку, вытирая руки о бёдра, хотя они были сухие.

— Я в машинном был, — сказал он. — Я даже не почувствовал.

— Никто не почувствовал, — сказала Дорн.

Я стоял у среза, в трёх шагах от того места, где кончался воздух, и держался левой рукой за тёплый чёрный камень. Правая висела на косынке. Я смотрел на четыре оставшихся овала и слушал, как расходятся отпущенные нити пятого, и ничего не мог с ними сделать: они уходили, как уходит вода из пробитой канистры, и не спрашивали меня.

Аглая подошла и встала рядом. Она смотрела туда же, куда все.

— Оно закрылось само, — сказала она. Не спросила.

— Само.

— Ты знал, что оно закроется?

Я мог соврать. Полчаса назад я увидел провис и не назвал цифру, потому что цифры у меня не было, и от этого сейчас не легче ни мне, ни ей.

— Я видел, что оно держится хуже других, — сказал я. — Я не знал, сколько у него осталось. У второй такой же провис. У неё тоже держится хуже.

Аглая перебрала ключи на поясе и остановила пальцы.

— Значит, вопрос не в том, найдёшь ли ты дорогу к Собору, — сказала она. — Вопрос, останется ли к тому времени, через что идти.

За спиной у нас Ошма вписала в тетрадь время. Карандаш скрипнул о бумагу, и в этой тишине его слышали все до одного.

Четыре двери.

И ни одного человека здесь, кто мог бы сказать, закроется ли следующая завтра или через минуту.

Глава 2. Учтён

Игла вошла в кожу под ключицей, и я это увидел.

Только увидел. Док держал её в двух пальцах коротко, как держат карандаш, когда пишут цифру, а не слово, и вёл остриём вверх, к шее, останавливаясь через палец.

— Здесь?

— Нет.

— Здесь?

— Нет.

Он смочил ватку спиртом и провёл по коже над ключицей. Запах пошёл сразу, резкий, чистый, единственное чистое, что было в этом лазарете за десять суток. Холод я почувствовал. Не спирт, холод, будто приложили железо.

— Мокро? — спросил док.

— Холодно.

Он вёл выше, к плечу, и там кожа наконец отозвалась щипком, слабым, через одеяло, и я сказал об этом, и он записал. Правая рука лежала на его ладони серая и сухая, как выделанная кожа. Пальцы я на неё не гнул. Их незачем было гнуть.

Док отложил иглу в лоток и раскрыл тетрадь.

Она распухла ещё сильнее с Кромки: между страниц торчали картонки, обрывки лент, чей-то бланк. Он листал назад, вёл ногтем по столбцу дат. Ноготь останавливался на каждой строке. Строки шли одна под другой ровно, без наклона, мелко.

— Вторые сутки, — сказал он. — Граница стоит на одном месте вторые сутки. С того часа, как ты закрыл порог изнутри.

— Это хорошо.

— Это непонятно. — Он не поднял головы. — Хорошо и непонятно — два разных слова, и я умею писать только второе.

Он достал коробок, чиркнул спичкой о бок и промахнулся мимо серы, чиркнул второй раз. Спичка вспыхнула у самых пальцев. Он дёрнул кистью, посмотрел на обожжённый ноготь секунду, будто ноготь был чужой, и бросил спичку в жестянку. Папиросу так и оставил лежать на краю тетради, незажжённую.

— Считай, — сказал он. — Сто назад по семь.

— Девяносто три. Восемьдесят шесть. Семьдесят девять. Семьдесят два.

Жила на шее дёрнула. Она делала это сама, с тех пор как мы прошли порог: тянула коротко, будто кто-то с той стороны кожи брал нитку и отпускал. Я повернул голову так, чтобы лампа на гусাকে светила мне в другую сторону, и продолжил ровно.

— Шестьдесят пять. Пятьдесят восемь. Пятьдесят один.

— Достаточно.

— Я дальше могу.

— Я знаю, что ты можешь.

Он взял меня за запястье левой, посмотрел не на меня, а в переборку, и держал долго. Пульс он считал вторые сутки одинаково — по шестнадцати ударам, а не по четверти минуты, потому что так короче и потому что пациент успевает соврать телом, если знает, что его слушают минуту.

— Семьдесят восемь, — сказал он и отпустил.

Потом он подтянул тетрадь и постоял над ней. В графе, где раньше стояло слово, он провёл прочерк. Ровный, короткий, от края до края клетки.

— Ты вписывал сюда слова, — сказал я.

— Вписывал.

— Последнее было Привратник.

— Последнее было Привратник. — Он закрыл колпачок ручки. — Слово ставят, когда знают, что называть. Кривая, которая встала, не вылечилась. Она стоит. Я не знаю почему, и человек, который скажет тебе, что знает, — врёт или продаёт.

За переборкой в коридоре кто-то из вахтенных Клема гремел ведром, и ведро било о комингс через раз, и по этому звуку было слышно, что человек тащит его правой и уже устал.

Я сел ровнее.

— Мне сегодня к штурманскому столу. И ночью наружу, на контур.

— Я слышал приказ капитана. Весь лагерь слышал приказ капитана.

— Тогда пиши допуск.

Он взял папиросу, покатал её в пальцах, положил обратно.

— Ты выйдешь, — сказал он. — Под надзор. За борт я тебя выпускаю, так заведено. На контур пойдёшь на фале, и на другом конце фала буду я. И если ты откроешь Ключ и у тебя пойдёт из-под ногтей — я тебя сдёрну, не спрашивая, что ты там дослушал.

— Договорились.

— Дан. — Он всё-таки посмотрел на меня. — Двадцать восемь суток нам считает Тарас по скрубберам. Тебе никто ничего не считает. Ты первый, у кого эта штука встала. Ни в одном деле Синодика этого нет.

Я поднялся, придержал косынку, чтобы мёртвая кисть не мотнулась о стойку, и пошёл к двери.

— Значит, дело перепишут, — сказал я.

Он ничего не ответил. Он вообще редко отвечал на такое. Он просто взял папиросу в третий раз и в третий раз положил её на тетрадь.

Связной пост Рина держала в порядке, который понимала одна она: катушки на гвоздиках по левому борту, ферритовый стержень в тряпнице, штекеры разложены по длине, и посреди всего этого на штурманском столе, придавленная гайкой, лежала засохшая корка сухаря.

— Это моё, — сказала она сразу, не поворачиваясь. — Это НЗ. Не смотри на неё так.

— Я на неё никак не смотрю.

— Ты смотришь на неё как Тарас.

Кальки лежали внахлест, четыре штуки, с загнутыми от сырости углами. Я расправлял их левой, по одной, ведя ладонью от середины к краю. Заломы садились плохо, бумага была старая и держала складку.

Дорн стояла с той стороны стола. Куртка без погон: срезала сама, при всех. Нитки на плечах остались торчать, и она их не выдернула. Она выложила из тубуса три сшивки в картонных обложках и раскрыла верхнюю.

— Ретрансляционные таблицы, — сказала она. — Полный сектор, третье издание. Здесь каждый узел, который Гильдия обслуживает, и каждый, который она знает и не обслуживает.

— Собор ищи.

— Я искала до того, как принесла.

Она перевернула сшивку и провела пальцем протеза по столбцу. Палец шёл ровно, без нажима, воск не гнулся.

— Позывного нет. Кода нет. Номера поста нет. В реестре Гильдии есть слово Собор — в трёх местах, и все три в делах об изъятии имущества Ордена Печати. Это слово из их бумаг. У нас оно нигде не привязано к точке.

Рина прикусила булавку зубами, вынула, поддела ею контакт штекера и стала выскрабливать зелень.

— Ну а как оно вообще выглядит, адрес? — спросила она невнятно, с булавкой у губы. — Вот я хочу вызвать узел. Что я набираю?

— Номер маршрута. Номер развязки от базовой. Индекс поста и часы вахты.

— То есть счёт от чего-то.

— От базовой отметки сектора. — Дорн подняла глаза. — За Приютом базовой отметки нет. Сетки нет. Мы сюда пришли не по маршруту, мы пришли через порог. Счисление кончилось за Кромкой, а здесь его нет вообще. Я могу назвать вам, сколько до Собора часов хода, если вы скажете, откуда считать. Считать неоткуда.

Я разгладил последний залом и придавил край гайкой.

Четыре кальки были красивые. Гильдейская разметка, тушь, ровные подписи, поля с печатями. И все четыре кончались одинаково: линия шла, шла, доходила до края и обрывалась, а дальше был чистый лист, и на чистом листе кто-то из старых чертёжников поставил от руки короткую волну — знак, что там ничего.

— У древних станций не бывает почтовых индексов, — сказала Рина. — Вот честно. Ты представь: стоит эта громадина, ей тыщу лет, и у неё дом сорок дробь два.

Она нажала булавкой сильнее, булавка соскочила. Рина коротко ругнулась в стол и сунула палец в рот.

— Вот, — сказала она пальцем во рту. — Вот тебе вся навигация.

Я смотрел на пустые графы формуляра, который Дорн положила поверх калек. Формуляр был гильдейский, служебный, с рамкой и с местом под подпись. Вверху шли клетки. Позывной объекта. Оператор. Часы приёма. Все три пустые.

Оператор.

Я знал этот порядок клеток. Я видел его не на бумаге.

— Вилена, — сказал я. — Эта форма чья?

— Гильдии.

— Она откуда взялась у Гильдии?

Дорн помолчала. Она делала так, когда собиралась сказать то, что двадцать лет говорить не полагалось.

— Формы служба маршрутов не придумывала, — сказала она. — Их перерисовали. У нас в архиве лежат оригиналы на плёнке, с которых сводили сетку. Никто не знает, откуда плёнка. Считается, что со старых постов.

— Со старых постов, — повторил я.

Я взял левой рукой карандаш и постучал грифелем по клетке с надписью «оператор». Раз, другой. Рина вынула палец изо рта и посмотрела на меня.

— Ты чего?

— Мы ищем не то.

— Мы ищем станцию.

— Мы ищем адрес станции. — Я положил карандаш. — Слушай. Когда я закрыл порог изнутри, Ключ дал мне строку. Слой два. Привратник. Активен. Учтён.

— Учтён, — сказала Дорн.

— Учтён. Не «находится», не «в точке такой-то». Учтён. Меня кто-то посчитал. Не место, где я стою, а меня.

Я развернул верхнюю кальку к себе и повёл ладонью по обрыву линии, по чистому полю за ним.

— Гильдия считает дороги. Отсюда до развязки, от развязки до поста. Убери дороги — и у тебя нет ничего, вот, пожалуйста, чистый лист и волна. — Я стукнул по бумаге костяшкой. — А Строители дороги не считали. Они их построили. Им незачем было писать себе, где что лежит, они это и так знали. Им надо было знать другое: кто на месте. Кто держит. Кто отвечает.

Рина перестала ковырять штекер.

— Реестр, — сказала она.

— Реестр. Не карта. Список тех, кто учтён.

— И ты в нём есть.

— Я в нём есть с той минуты, как закрыл дверь. — Жила на шее дёрнула, и я поймал себя на том, что говорю громче, чем надо, и сбавил. — И отец сказал мне: ищи Собор с именами. Я думал, он про то, что там записаны имена. Он не про то говорил. Он говорил, как искать.

Дорн закрыла шивку. Тихо, ладонью, без стука.

— То есть вы предлагаете не спрашивать, где, — сказала она.

— Я предлагаю спрашивать, кто. Не где Собор, а кто там учтён. И слушать, откуда ответят.

— У четырёх дверей.

— У четырёх дверей. Пока их четыре.

Рина вытерла палец о штанину, оставив на ней бурую точку, и молча стала мотать провод на локоть. Она всегда так делала, когда соглашалась и не хотела говорить этого вслух.

Дорн собрала свои шивки в тубус. Потом остановилась, держа крышку в протезе.

— Двадцать лет, — сказала она. — Двадцать лет я вела людей по номерам постов. Ни в одном формуляре, который я подписывала, графа с оператором не была заполнена. Ни разу. Я думала, это осталось от старой формы.

— Оно и осталось от старой формы.

— Оно осталось пустым, — сказала она, — потому что нам нечего было туда вписать.

Наружу вышли в двадцать два пятнадцать, через технический лаз второго яруса, на смотровую площадку контура.

Площадка была не площадка, а срез: ребро чёрного камня шириной шага в четыре, тёплое сквозь подошву даже там, где по всем правилам должно было быть минус двести. Ограждения не было. Ограждения тут не строили, потому что тот, кто это строил, не падал.

Аглая шла первой, с фонарём, и ключи на её поясе не звякали: она перехватила их резинкой ещё в шлюзе. Док вязал фал на моей грудной обвязке, дважды перепроверил карабин и остаток бухты закрепил за скобу у самого лаза.

— Пятнадцать метров, — сказал он. — Дальше я тебя не пускаю.

— Дальше некуда.

— Я знаю, что некуда. Пятнадцать метров.

Холод шёл снизу, от среза, где кончалась станция и начиналась пустота. Он тянул по голеним вверх, ровно, без порывов, и я не сразу понял, откуда в вакууме сквозняк, а потом понял: это не воздух. Это станция сбрасывала тепло через камень, и по камню тянуло туда, где холоднее.

Четыре двери стояли в черноте.

Матовые овалы, каждый в сотни метров, без блеска, без края, будто из воздуха вырезали четыре куска и вставили обратно неправильной стороной. Я держал их в счёте с полудня, как держат в счёте створы на подходе: первая — дальняя, высоко справа; вторая — ближе и левее, та, у которой провис; третья за ней; четвёртая — низко справа, почти под срезом. Свет от них не шёл. Они просто были видны, и от того, что были видны и не светили, смотреть на них было тяжело.

— Ошма насчитала четыре в тринадцать десять, — сказала Аглая. — С тех пор ни одна не шевельнулась. Проверяли каждый час.

— Вторая держится хуже.

— Ты это уже говорил.

— Я это повторяю, чтобы, когда она сложится, никто не спрашивал, знал ли я.

Аглая отвинтила крышку фляги. Не отпила. Завинтила обратно.

— Открывай, — сказала она.

Я закрыл глаза, потому что с открытыми выходило дольше, и открыл Ключ.

Это всегда одно и то же и всегда неожиданно. Сначала пропадает вес — не тела, а вещей вокруг: камень под ногами перестаёт быть камнем и становится плотностью, в которой идут

жилы. Потом приходит слух, которым слышат не ухом. Станция дышала подо мной, медленно, как дышит спящий большой зверь, и от каждого её вдоха по кости челюсти шла тупая волна.

Четыре двери висели на нитях.

Теперь я видел, как они устроены. Каждая держалась стежками, десятками; стежки уходили в тело станции и там, глубоко, сходились к чему-то, чего я не доставал. Вторая провисала. Нити у неё шли с брюшком, как провод между столбами в жару.

Я не стал их трогать. Я вспомнил вкус первой такой ошибки на Сходнях и не стал.

Вместо этого я сделал то, чего никогда не делал.

Я взял свою строку — ту четвёрку слов, которая горела во мне с закрытого порога, — и толкнул её от себя. Как окликают в темноте, когда не знаешь, есть ли кто, и потому называешь себя первым.

Учтён.

Ответ пришёл раньше, чем я успел испугаться.

Дальняя правая дверь налилась матовым, вся сразу, от края до края, и по камню под ногами пошёл гул. Он не был звуком. Он был в кости: в челюсти, в костяшках запястья, в зубах нижнего ряда, и он был короткий, в один такт, и он кончился.

— Дан, — сказал где-то далеко док. — Пульс.

— Идёт, — сказала Аглая. — Не трогай его.

Вторая вспыхнула следом, та самая, с брюшком, и гул от неё пришёл слабее и грязнее, с дребезгом, будто в кости отозвалась не сама дверь, а что-то плохо к ней прикрученное.

Третья вспыхнула последней, с задержкой на два моих вдоха.

Четвёртая, нижняя справа, осталась чёрной.

Я толкнул ещё раз, в неё одну, и назвал себя ещё раз, отчётливо, как называют себя в закрытый шлюз. Ничего. Матовая плоскость висела мёртвая, ровная, и нити в ней шли, и по нитям ничего не бежало. Она была открыта. И она была никем не занята.

Открытая дверь, за которой никого. Мне это не понравилось больше, чем если бы она захлопнулась при мне.

Я подождал, сколько мог. Потом послал третье слово. Не своё.

Ярко Веко.

И вот тогда, за второй дверью, в кости моей челюсти пошёл такт.

Три коротких, пауза, три коротких. Подводка курса. Я знал этот почерк лучше, чем свой: три подводки подряд, короткая правка, снова три. Так правил маршрут человек, который учил меня в четырнадцать лет держать нитку слуха, и делал это, стоя за моей спиной, и стучал костяшкой по коже, чтобы я не сбивался.

У меня потянуло от ключицы вверх, вдоль жилы, коротким уколом. Я стоял и слушал. Стук шёл ровно, без сбоя. Шестой год одно и то же, наугад, в пустое — вдруг кто-нибудь окажется слышащим костью.

Я закрыл Ключ.

Пустота вернулась на место. Холод по голеним, чёрный камень, четыре овала, из которых три ещё гасли, теряя матовость, как гаснет спираль в плитке. Док уже держал меня за запястье, и я не заметил, когда он подошёл.

— Сто четыре, — сказал он. — Сядь.

— Не сяду.

— Сядь, Дан.

Я сел на камень. Он был тёплый. Он был тёплый под задницей на границе пустоты, и я в который раз подумал, что мы ничего про это место не знаем, вообще ничего.

Аглая присела на корточки напротив и посветила мне фонарём в грудь, не в лицо.

— Говори.

— Три из четырёх ответили. Нижняя правая молчит. — Я перевёл дыхание. — Три отозвались на имя. Не на моё имя. На то, что я учтён.

— А четвёртая?

— Четвёртая открыта и пуста. Там нет никого, кто отвечает.

Аглая перебрала пальцами резинку на ключах.

— Дальше.

Я посмотрел на вторую, ту, что с провисом, и она уже почти догорела до обычной матовой пустоты.

— За второй стучит отец, — сказал я. — Тремя подводками. Тем же почерком, что на Меридиане.

Док у меня за спиной перестал шуршать бухтой.

— За второй, — сказала Аглая.

— За второй.

— За той, которая провисает.

— Да.

Она поднялась. Постояла, глядя на четыре овала, и я снизу видел только её подбородок и выпцветшую нашивку на плече, которую она не снимает двадцать лет.

— Значит, три двери, — сказала она. — И в ту, которая нам нужна, идти надо первой, потому что она может лечь, как легла та.

— Да.

— И мы не знаем, что за любой из них.

— Не знаем.

— Тогда завтра на совете решаем, кто идёт смотреть. — Она сунула фонарь в карман и подала мне руку. — И не ты первый это скажешь. Скажу я.

Я взялся за её ладонь левой и встал.

Внизу, в кармане лагеря, за рельсом, горело десятка два огней: у Ошмы топили печь на ночь, и по контуру шло длинное красное пятно от её трубы. Семь выпелов и лагерь за рельсом. Двадцать восемь суток по скрубберам.

И три двери, из которых за одной стучал мой отец, и никто из живых не мог сказать, сколько эта дверь ещё простоит.

Глава 3. Делёж

Тарас положил на стол разводной ключ и вытер его промасленным концом, хотя ключ был чистый. Он всегда так делал перед тем, как сказать что-то, чего капитан не хочет слышать.

— Скрубберы отдавать надо, — сказал он. — Два из четырёх.

Аглая не подняла головы от листа. Лист был расчерчен мелом по столешнице, прямо по железу, и мел скрипел под её ногтем, когда она вела линию.

— Дальше.

— Дальше просто. За рельсом восемьдесят два души и печь. Печь жрёт воздух. Мы уйдём — у них останутся судовые фильтры с двух катеров, а катера сходненские, там регенерация на четыре головы, а не на восемьдесят. — Он положил ладонь на стол плашмя. — Я считал срок, когда мы все тут дышим в кучу. Если мы уходим и забираем железо, у них выйдет не двадцать восемь. У них выйдет двенадцать.

В камбузе пахло пригоревшим концентратом. Банку грели на аварийном элементе, и она пригорела с одного бока, и этот бок теперь стоял ко мне.

— Двадцать семь, — сказала Аглая. — Не двадцать восемь. Сутки прошли.

— Двадцать семь, — согласился Тарас.

Он взял сухарь, обугленный с угла, посолил его прямо из ладони и разломил на три части. Одну положил передо мной, одну придвинул Рине, третью оставил себе. Мне он всегда клал справа, к мёртвой руке, и я всегда доставал левой через себя, и он всегда делал вид, что не заметил, и я делал вид, что не заметил, что он делает вид.

— Не могу я сегодня жестянки мыть, — сказала Рина с набитым ртом. — Я вчера мыла.

— Ты вчера их протёрла рукавом.

— Это и есть мыть без воды. Что ты хочешь, кипятком их полоскать? Аглая мне за кружку кипятка голову оторвёт.

— Я тебе за рукав оторву, — сказала Аглая, не отрываясь от мела. — Тарас. Два скруббера остаются в кармане. Ставишь сам, чтобы никто в лагере в них не лазил.

Тарас открыл рот и закрыл. Он свистнул сквозь зубы — коротко, довольно, — и потянулся за своей третьей сухаря.

— Понял.

— Дальше люди. — Аглая провела мелом черту поперёк листа, отделяя одно от другого. — Клем даёт шестерых. Трёх я забираю на борт, троих оставляю в кармане.

Док у торца стола катал в пальцах незажжённую папиросу. Он сидел там, где всегда сидит, спиной к переборке, и стряхивать ему было нечего, но крышку от банки он всё равно поставил перед собой.

— В кармане оружия нет по договору, — сказал он.

— И не будет. Они там не воевать. Они там смотрят на фильтры и считают, сколько снято льда. — Аглая наконец подняла голову. — Если кто-то из наших за рельсом возьмёт ствол, договор кончится в ту же минуту, и восемьдесят два сходненских узнают, что они там не гости, а под охраной. Этого не будет.

Рина отскребала ложкой по кругу дно жестянки. Скрип шёл ровный, как отсчёт.

— А если дверь сядет? — спросила она. — Пока мы тут скрубберы делим.

Все посмотрели на меня. Так теперь всегда: вопрос задают в воздух, а смотрят в мою сторону, будто у меня в кости есть шкала.

— Не знаю, — сказал я. — Пятая села за секунду. Без такта, без предупреждения, я её держал в Ключе и ничего не почувствовал заранее. Она просто перестала быть.

— А вторая провисает, — сказала Рина.

— Вторая провисает.

— Насколько?

Я попробовал это объяснить и опять не смог сказать точнее, чем в первый раз. Нити в двери идут натянутые, как леска на барабане, и по ним что-то бежит, если дверь занята. У второй они провисли. Не порвались. Провисли, как трос, с которого сняли груз.

— Как будто её больше никто не тянет с той стороны, — сказал я. — Кроме одного.

Аглая положила мел.

— На совете ты об этом молчишь.

— Аглая...

— Ты молчишь, Дан. — Она сказала это ровно, тем голосом, который у неё вместо крика. — На совете сидят пять капитанов, Ошма и все, кто за её спиной. Если они услышат от навигатора, что мы идём в дверь, потому что там стучит его отец, они поймут одну вещь: мы уводим оба вооружённых борта ради семейного дела. И они будут правы настолько, что я не найду, что ответить.

— Это не семейное дело. Стук — единственный отклик, который мы получили. Три двери отозвались, что я учтён, и всё. Ни одна не сказала, куда ведёт. А из второй мне назвали почерк.

— Я знаю. — Она завинтила крышку фляги, не отпив. — И всё равно ты молчишь. Говорить буду я, и я скажу другими словами, и слова будут те же самые. Это называется совет.

Тарас собрал крошки в ладонь и ссыпал их в жестянку Гвоздя. В банке зашуршало.

— Значит, идём во вторую, — сказал он.

— Идём во вторую. Молчун и Коршун. — Аглая обвела мелом на столе два кружка и один длинный овал под ними. — Караван остаётся здесь. Пять вымпелов, лагерь, вода, лёд, печь. Мы уходим смотреть и возвращаемся.

— Через сколько? — спросил док.

Она не ответила.

Мел лежал на железе, и белая пыль от него осела на пригоревший бок банки.

— Через сколько, Аглая?

— Через столько, чтобы успеть до исхода пайка. — Она встала. — Мойте жестянки по очереди. Дан, ты на совет идёшь молча и стоишь рядом со мной. Тарас, скрубберы. Рина, пиши всё, что там скажут, слово в слово.

— Чем? — спросила Рина. — У меня карандаш на палец остался.

— Значит, мелко пиши.

Она вышла первой, и ключи на её поясе прозвенели по проходу — звук уходил вперёд неё, как всегда.

Рина посмотрела в свою пустую жестянку, потом на меня.

— Я всё равно её вчера мыла, — сказала она.

Печь у Ошмы стояла на кожухах рельса, сваренная из двух бочек, и труба уходила вбок и вверх, к вытяжке кармана. Огонь в ней был жёлтый и чадный, и от него тянуло тем самым запахом, который в жилом кармане к вечеру не выветривался, а к утру уходил. Сейчас было утро, и запах ещё держался, и, значит, ночью в карман набилось больше народу, чем положено.

Люди стояли плотно. Не толпой — карман узкий, там иначе нельзя, — а плотно, плечо в плечо, и говорили негромко, и от этого гул шёл ровный, низкий, как от вентиляции. Пар от дыхания собирался под потолком в мутную полосу.

Пятеро капитанов сидели на ящиках у печи, в пропотевших куртках, и ни один куртку не снял, хотя у печи было жарко. Дорн стояла на отшибе, у самого рельса, со срезанными погонами, и её было легко потерять глазом: она умеет стоять так, что взгляд по ней проезжает.

Ошма вышла к плите с куском мела в кулаке.

Плита у неё была своя — ровный кусок обшивки, прислонённый к бочке, и на нём тем же почерком, которым она вела счёт воды на Сходнях, стояли цифры. Сверху — 27. Ниже — столбик поменьше, суточные.

— Двадцать семь, — сказала Ошма. — Я написала утром, как капитан велела. Теперь пусть капитан объяснит, зачем она уводит от нас оба борта со стволами.

— Затем, что через двадцать семь суток здесь нечего будет писать, — сказала Аглая.

— Через двадцать семь суток мы будем живы. — Ошма ткнула мелом в столбик. — А если вы уйдёте и не вернётесь, у нас останется восемьдесят две головы и пять корыт без хода в дырке за краем карты. Мы это уже проходили. Мы посылали разведку.

Гул в кармане присел.

— Трое, — сказала Ошма. — Бран. Левко. Седых. Они пошли вниз, потому что кто-то сказал: там дорога. Дороги не было. Наверх поднялись двое ваших, а мои трое остались внизу. И один из ваших двоих с тех пор спит с ключом под подушкой.

Тарас, стоявший позади меня, не шевельнулся. Он даже свистеть не перестал — он не свистел уже давно.

— Сходни стояли на месте сорок лет, — продолжала Ошма. — Мы их не удержали не потому, что сидели. А потому, что нас с места сдёрнули. Рада Веб сказала: сорок суток. Двое прошло. Тридцать восемь остаётся. Я предлагаю сидеть тридцать восемь суток и ждать её, а не лезть в первую попавшуюся дырку.

— Тридцать восемь, — повторила Аглая. — Ошма, посчитай вслух. Тебе мел в руке.

Ошма посмотрела на плиту.

— Двадцать семь, — сказала она через паузу. — И тридцать восемь.

— Одиннадцать суток разницы. — Аглая говорила не громко и не быстро. — Одиннадцать суток без еды на триста сорок два человека. Ты хочешь, чтобы Рада Веб пришла на срок и нашла тут ровно то, что мы нашли на Точке-двенадцать. Койки заправлены, вода в баках, людей нет.

Кто-то в глубине кармана сказал: «А чего они нашли-то», и на него зашикали.

Ошма сжала кулак. Мел хрустнул. Крошки посыпались ей на штанину, белым по чёрному, и она стояла ещё секунду, потом медленно, не глядя, стала подбирать обломки с колена и совать их в карман — по одному, все до последнего.

— И что ты предлагаешь, — сказала она.

— Я предлагаю двоих отдать за всех. — Аглая шагнула к плите и взяла у Ошмы уцелевший обломок мела. — Молчун и Коршун уходят во вторую дверь. Смотрим, что за ней. Если там место, где есть чем дышать и что есть, — возвращаемся и уводим караван. Если там пусто, возвращаемся и говорим вам, что пусто, и вы теряете столько суток, сколько нас не было. Здесь остаётся всё, что у нас есть: пять вымпелов, вода, лёд, печь, два наших скруббера и трое людей Клема на фильтры. Клем сам остаётся.

— Ваши люди в моём кармане.

— Без оружия. По договору. — Аглая написала на плите поперёк столбика короткую черту и цифру. — И вот это. Караван не трогает наш аварийный запас до нашего возвращения или до исхода пайка, что раньше. Хотите — поставьте своего человека к пломбе. Я его пушу.

Ошма долго смотрела на цифру.

Я стоял рядом и молчал, как велено, и от этого молчания у меня в челюсти отдавало сильнее обычного. Второй раз в жизни мне было легче говорить, чем стоять. Первый был на Сходнях, на эстакаде, когда толпа считала меня убийцей троих. Эта же толпа. Те же лица.

— Кто ведёт? — спросила Ошма.

— Мой навигатор.

— Тот самый.

— Тот самый, — сказала Аглая. — Других у меня нет, и у тебя тоже.

Ошма перевела на меня взгляд. Она смотрела не на лицо. Она смотрела на косынку, на серую кисть в ней, лежащую как чужая вещь, которую я ношу с собой.

— А если он там ляжет? — спросила она. — Он у вас, я гляжу, каждую неделю ложится.

— Тогда мы не вернёмся, и вы будете сидеть до срока Рады, — сказала Аглая. — Ты этого и хотела с самого начала. Разница только в том, что у тебя будет одиннадцать лишних суток на подумать, а не на поесть.

От рельса отделилась Дорн.

Она подошла без спешки, ровным шагом, и остановилась так, чтобы её было видно и сходненским, и капитанам.

— Коршун идёт, — сказала она. — У меня четверо, включая меня. Двое моих ходовых сейчас у вас в кармане, работают на печи и на льду. Я забираю их обратно на борт.

— Они мои, — сказала Ошма. — Они сходненские.

— Они на моём борту приняты в судовую роль, — сказала Дорн. — Я не могу вести фрегат втроём. Или вы забираете их совсем, и тогда Коршун никуда не идёт, и Молчун идёт в дверь один и без стволов.

Она провела пальцем по манжете левой руки, поправила её о край бронежилета — коротко, привычно, будто одёргивала рукав. Воск на кисти не отражал огня, как отражала кожа.

Ошма посмотрела на капитанов. Один из них, старик с Ветродуя, кивнул, потом второй.

— Забирайте, — сказала Ошма.

— Совет утверждает? — спросила Аглая.

Ошма взяла у неё мел обратно. Обломок был короткий, ей пришлось держать его щепотью. Она провела под столбиком черту, а под чертой написала: ушли, сутки 28.

— Утверждает, — сказала она. — И запиши у себя, капитан: если вы не вернётесь, я эту доску не сотру. Пусть Рада прочитает, кто куда делся.

Гул в кармане поднялся и опять осел.

Я стоял и не сказал ни слова, и это было правильно, и мне это не нравилось так, как редко что не нравилось за весь рейс.

Переходной шлюз собрали за ночь из двух рукавов и одной чужой манжеты. Он висел между бортами провисшей кишкой, и внутри было холоднее, чем на срезе. Рукав шёл под уклон к Коршуну. По этому уклону двое ходовых волокли вещмешки, упираясь ботинками в поперечины; один мешок зацепился и высыпал на настил чью-то ложку и моток проволоки.

— Оставь, — сказал ходовой второму. — Потом.

Они прошли мимо меня, и я узнал обоих: сходненские, оба были на стапеле, когда Тарас резал спёкшийся тракт.

Дорн ждала у манжеты с планшетом под мышкой.

— Вектор входа, — сказал я. — Мне нужен ваш пассивный пеленг за последние трое суток, шаг по вашему усмотрению. Я хочу знать, куда смотрит дверь, до того, как в неё войду.

— Дверь никуда не смотрит, — сказала Дорн. — Дверь — это шов. У шва нет направления, у него есть две стороны.

— У него есть натяжение нитей. Если я войду поперёк натяжения, я вытяну за собой ткань, как вы вытягиваете рукав, когда лезете локтем. У Мёртвого меридиана это стоило нам двадцати восьми человек, потому что я понял это на третьи сутки, а не на первые.

Она молчала ровно столько, чтобы я услышал, как в рукаве капает.

— Служебный доклад, — сказала она.

— Не сейчас.

— Именно сейчас. — Она развернула планшет ко мне. — Смотрите, навигатор.

Экран был серый, с ультрамариновой сеткой, и по сетке шла полоса шумовой записи — та самая грязь, которую пишет пассивный пеленг, когда ловить нечего. Я на такое насмотрелся у Рины. Грязь и есть грязь.

— Я вижу шум.

— Вы видите шум, потому что ищете сигнал. — Дорн повела пальцем по полосе. — Ищите ритм.

И я увидел.

Через неравные, на первый взгляд, промежутки в грязи стояли утолщения. Не пики. Просто места, где шума было чуть больше, чем вокруг, и эти места повторялись, и повторялись они правильно.

Она прижала палец к первому.

— Шаг восемнадцать целых четыре, — сказала она. — Не секунды. Минуты. Между утолщениями восемнадцать минут четыре десятых, разброс — две десятых. Так не ходит ни аномалия, ни фронт, ни ваш прилив. Так ходит строй.

Я поймал себя на том, что считаю вслед за ней: восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать. Левая ладонь на тросе стала мокрой. Правая в косынке не почувствовала ничего, и это было хуже всего.

— Что за строй?

— Ордер. — Она смотрела на экран, а не на меня. — Восемнадцать минут — это цикл переключки ходовых постов на большом соединении. Каждый выпел по очереди отдаёт короткий контроль в общий канал, и когда таких выпелов много, а канал глухой, наружу пробивается вот это. Утолщение. Я двадцать лет слушала эту дырку в эфире с той стороны. Я знаю, как она выглядит.

— Сколько выпелов?

— По плотности — не меньше четырёх. Один тяжёлый. Тяжёлого слышно отдельно, у него другой такт машин, он тянет остальных на себя.

Настил под ногами качнулся — не толчок, а обычное дыхание рукава, когда кто-то идёт по нему с другого конца, — и я всё равно взялся левой за трос.

— Где, — сказал я.

— В шве. — Дорн подняла палец и провела им от первого утолщения к последнему, слева направо, через весь экран. — В глубине, за поворотом ткани. Идут в нашу сторону размеренно, без рывков, не ищут, не рыскают. Идут по маршруту, как по улице.

— Сколько это пишется?

— Третьи сутки.

Я посмотрел на неё.

— Третьи.

— С момента, как вы закрыли порог за собой. — Она наконец подняла глаза от планшета. — Первое утолщение легло на ленту через одиннадцать часов после закрытия. Я его отбросила как наводку от собственных машин. Второе тоже. На вторые сутки я перепроверила по чужому такту и получила восемнадцать целых четыре.

— И вы молчали двое суток.

— Я молчала, пока не набрала шесть интервалов подряд, — сказала она, и голос у неё не дрогнул. — Если бы я сказала на одном, вы бы сегодня утром сказали совету, что за нами идёт флот, и совет не отпустил бы никого никуда, и мы бы сели здесь на двадцать семь суток и ждали, когда он придёт к нам сам. Теперь у меня шесть интервалов, а у вас утверждённое решение. Так лучше.

Из рукава сзади шёл сквозняк, и в нём пахло горелым концентратом от печи Ошмы. Этот запах здесь, в километре от её плиты, означал одно: вытяжку тянет сквозь весь контур, и мы дышим тем, чем дышат они.

— Дан, — сказала Аглая.

Я не слышал, как она подошла. Она стояла у входа в рукав, держась за трос, и по её лицу нельзя было понять, сколько она успела застать.

— Гильдия, — сказал я. — В шве. Четыре выпела минимум, один тяжёлый. Третьи сутки.

Аглая не спросила, точно ли. Она посмотрела на планшет, потом на Дорн, и её пальцы пошли по ключам на поясе, перебирая, — и остановились.

— Тяжёлый — это Беркут, — сказала она.

— Я не могу опознать выпел по такту машин, — сказала Дорн. — Но восемь тысяч тонн у Сваля были одни.

Кто-то из ходовых уронил в дальнем конце рукава вещмешок, и звук пошёл по кишке гулко, дважды.

— Он не может идти по шву, — сказал я. — Я закрыл дверь изнутри. Я держал замок, я слышал, как он лёг. Он остался с той стороны, у Меридиана, за плитами.

— Он и не идёт по вашему шву, — сказала Дорн. Она свернула запись и сунула планшет под мышку, поправила манжету о край жилета — коротко, привычно. — Он идёт по своему. Вы вторые сутки ищите дорогу к Собору по именам, потому что у вас нет карты. У них карта есть.

Аглая отпустила ключи.

— Тарас, — сказала она в рукав, не оборачиваясь, и голос ушёл вниз по уклону, к Коршуну, и вернулся. — Скрубберы в карман ставь сейчас. Не после обеда. Сейчас.

Я стоял и слушал.

Не ухом. Ухом в рукаве было слышно только капель и как двое ходовых тянут по настилу третий мешок. Я слушал костью, той жилой, что идёт от ключицы вверх, и в ней было пусто и ровно, как было все эти сутки, — и всё-таки где-то под этой пустотой, за поворотом ткани, которого я не видел и не мог увидеть без Ключа, шёл размеренный тяжёлый ход. Восемнадцать минут четыре десятых. Переключка. Улица.

Мы прошли за порог, закрыли за собой дверь и вышли к четырём чужим дверям на краю всего.

Охота не осталась по ту сторону.

Глава 4. Нитка

Тарас говорил, что железо поёт. В эту вахту оно скулило.

Я держал корабль левой рукой на нижнем штурвальчике маневровых, и левая уже не разжималась сама: пальцы приходилось отдирать от рукояти, помогая себе подбородком. Правая лежала на косынке, серая и сухая, и делала то единственное, что умела теперь, — весила. Нить тянула вбок и внутрь. Не толкала, не била, тянула без рывков, как течение тянет лодку к середине реки, и каждый раз, когда я отпускал давление на левую пару, нос уводило на четверть деления.

— Отработал, — сказал Тарас в интерком снизу. — Держи.

Дюзы левого борта плюнули на полсекунды, корабль повело обратно, и деление вернулось на место. И тут же поползло.

Вторые сутки хода. Из них половину я просидел вот так, на одном креслице, у одной панели, глядя на одну шкалу.

— Сколько ты на этом импульсе сожжёшь? — спросила Аглая.

Она стояла за моим плечом и не садилась. Ключи на поясе у неё не звякали: она собрала их в горсть и держала, чтобы не мешали слушать корабль.

— Столько, сколько она с нас берёт, — сказал Тарас снизу. — Она берёт не на разгон, капитан. Мы никуда не разгоняемся. Мы всю дорогу упираемся вбок.

— Считай.

— Посчитал уже. Если так и дальше дёргать по одному импульсу на каждый чих, к концу перегона у меня ввод потечёт по второму разу, а второго ввода у меня нет.

Аглая молчала. Я слушал, как в её молчании Тарас сам себя доводит до решения: он всегда так, ему надо проговорить свою беду вслух, и на третьем предложении у него выходит выход.

— Есть одно, — сказал он. — Я его не люблю. Продувка импульсами, мелкими, в такт. Не по факту сноса, а заранее, всё время. Как будто кашляешь через равный счёт. Тогда тракт не остывает и не вспухает, а держит середину.

— Разница?

— Разница в том, что мне надо сидеть на рубильнике и слушать, — сказал Тарас. — Вручную. Автомат этого не сделает, у автомата задержка, он ловит снос по факту, а нам надо до факта.

— По чьему такту? — спросила Аглая.

Оба замолчали, и я понял, что молчат на меня.

Нить я слышал костью. Она шла в жиле на шее, той самой почерневшей, которая давно стала мне прибором вместо приборов. Тянувшая нота, низкая, без дрожи, с ленивым перекатом внутри себя. Перекат повторялся. Не быстро.

— Полтора, — сказал я. — Полтора удара сердца между перекатами. Я буду отбивать в интерком костяшкой.

— Костяшкой чего? — уточнил док. Он сидел в углу рубки на разномычке, спиной к переборке, и катал в пальцах скальпель, тупой, отслуживший, которым он резал галеты. Папиросы не доставал. С самого выхода из Приюта не доставал ни разу, и я это заметил и не сказал.

— Левой, — ответил я.

— Пульс.

— Он мне нужен через полчаса, док, а не сейчас.

— Пульс, — сказал он тем же тоном, снял мне с запястья счёт и записал в тетрадь дату и время. Слова в графе опять не появилось. Она у него пустая с самого Приюта, и мы оба делаем вид, что это графа, а не приговор.

Я начал отбивать. Тук. Тук. Тук. Между ударами Тарас щёлкал рубильником, и корабль выдыхал левым бортом, правым, левым, каждый раз на полсекунды. Через десяток тактов деление на шкале сноса замерло. Через полсотни я уже не смотрел на шкалу и слушал только жилу, а рука стучала сама.

По узкому лучу с Коршуна пришла Дорн. Голос без шороха: связь держали направленную, четыреста метров, и в кильватере у нас всю дорогу висел зелёный габарит.

— Молчун, у меня дюзы вышли за красную по температуре, — сказала она. — Я иду за вами и повторяю ваши поправки с задержкой, а на задержке снос вдвое. Мне придётся греть тракт больше вашего.

— Вставайте на мой такт, — сказал я. — Не смотрите на нас. Слушайте счёт. Я буду считать в луч.

— Вы нас ведёте по звуку, которого у меня нет, — сказала она.

— У вас есть я.

Пауза в луче.

— Считайте, — сказала Дорн.

И я стал считать вслух, а Тарас снизу подхватывал щелчками рубильника, и на четвёртой сотне счёта я уже не слышал ни собственного голоса, ни того, как Рина в углу связного поста греет озябшие пальцы о кожух щита. Грела долго, подставляя то одну сторону кисти, то другую. Потом заварила в надтреснутой кружке спитую яблочную кожуру — ту же, из тряпицы, по третьему разу, — и, пока настаивалось, вытряхнула на стол коробочку и пересчитала леденцы. Их было четыре. Пересчитала снова, будто от этого могло стать пять.

— Три с половиной, — сказала Рина. — Один общий.

— Ешь, — сказал Тарас снизу, не видя её.

— Ты слышишь через палубу, как я коробкой шуршу?

— Я слышу, как ты думаешь.

За переборкой прошёл кто-то из людей Клема, и подошва у него скрипнула по настилу дважды. Один шаг — два звука.

Я услышал это раньше, чем понял, что услышал. Так бывает: ухо отмечает неправильность и кладёт её в сторону, а голова доходит до неё через минуту.

Аглая дошла первой.

— Дан. Встань.

— Я держу такт.

— Встань с кресла.

Я встал. Ботинки отошли от настила с чмоканьем, как отходит от стола пролитый и подсохший чай. Настил под креслом был серый и матовый, и на нём остались два следа моих подошв. Не отпечатка в грязи. Следа в металле. Настил там поднялся тонким валиком по контуру рифления, будто его влили в рисунок подошвы и он схватился.

Я потрогал валик пальцем левой. Гладкий, тёплый, без шва. Такого шва не варит никто.

В горле стало сухо. Я стоял тут вахту и ещё вахту.

— Ошмины правила были про воду, — сказала Аглая. — Про это правил у нас нет.

— У Гессы было четыре, — сказал я. — Про Пряху, про Обратку, про прилив. Четвёртое про дверь. Это пятое, и его никто не писал.

Тарас поднялся к нам, вытирая руки. Полу комбинезона у него затянуло в молнию куртки, он дёрнул раз, другой, сказал слово, которое Аглая пропустила мимо, полез в карман и вытащил пассатижи. Прикусил ткань и рванул. Молния поехала, ткань осталась в зубах клоком.

— Вот теперь я одет по уставу, — сказал он и сел на корточки у моих следов. Постучал по валику ключом. Ключ отскочил как от палубы. Он поскрёб ногтем. — Это не наплавка. Это она и есть, палуба. Только с рисунком его ботинка.

— Сколько он тут просидел? — спросила Аглая.

— Вахту, — сказал я.

— Одну?

Я не ответил. Я сидел в этом кресле обе вахты подряд, потому что такт держал я, и никто, кроме меня, его не слышал.

Аглая сняла с пояса флягу, подержала её в руке и повесила обратно, не открыв.

— Слушайте все, — сказала она, и голос у неё пошёл по кораблю через интерком, в трюм, в машинное, в кубрик. — С этой минуты и до конца перегона. Вахту на одном посту дважды подряд не стоять, меняться местами через одну. Спать в койке две ночи подряд запрещают: сегодня в своей, завтра в чужой, распишу сама. Лёжа ничего не чинить. Сидеть и стоять — переступать, вставать, ходить. Если тебе кажется, что ты прирос, значит, тебе не кажется, зови людей, сам не рви.

— А работать когда? — сказал Тарас.

— Стоя и переступая, — сказала Аглая.

Люди Клема на борту остались втроём. Двое стояли на трюмных вахтах, третий спал в кубрике на моей койке, потому что моя койка на эту ночь была чужая.

Такт я держал ещё четыре часа, отбивая костяшкой левой руки, стоя и переступая с ноги на ногу, как лошадь в стойле.

Корабль шёл ровно.

Никто не прирос.

Это продержалось сутки.

Ночью меня разбудил не крик. Разбудило то, что по кораблю побежали, а на Молчуне бегают редко: он маленький, тут всё в шести шагах.

Я вылез из чужой койки, натянул ботинки и пошёл в трюм левой стороной коридора, вдоль тросов. Кто-то впереди уже включил все аварийные плафоны разом, и жёлтый неровный свет выкладывал коридор пятнами. Пахло горячей медью. Так пахнет изоляция, когда её пердержали, только тут никто ничего не грел.

Он стоял у шпангоута, боком, как стоял, наверное, всю ночь.

Стец. Старший из двоих трюмных, кряжистый, с обгрызенным ногтем на большом пальце, — я запомнил ноготь, потому что весь вчерашний день он им поддевал крышку банки и ругался.

Он стоял, вжавшись правым плечом в переборку между двумя рёбрами набора, и держал левой рукой фонарь, и фонарь горел в пол. Голова у него была повернута к нам. Лицо спокойное. Он не бился.

— Не дёргайся, — сказал он, когда я подошёл. — Я уже подёргался.

Плеча не было видно. Я думал сначала, что комбинезон просто зажат. Потом Тарас поднёс лампу, и я увидел.

Ткань комбинезона входила в металл. Не лежала на нём, не была прижата. Она входила в шпангоут, как входит в лужу отпущенная в неё тряпка, и там, где кончалась ткань, начиналось железо — серое, матовое, с тем же валиком по контуру, что остался под моим креслом. Только контур был не подошвы. Контур был плеча.

Док присел рядом и не полез руками сразу. Он смотрел долго, потом взял его запястье и держал.

— Больно? — спросил док.

— Нет, — сказал Стец. — В том и дело, что нет. Оно тёплое. Как в бане прислонился.

— Пальцы чувствуешь?

— Все. — Он пошевелил кистью, торчащей из стены на две ладони ниже, и пальцы шевельнулись, все пять. — Я и руку чувствую. Она у меня вся тут. Просто она в стене.

Аглая пришла и встала за моей спиной, и я услышал, как она забрала ключи в горсть.

— Мыш, — сказала она второму трюмному. — Инструмент. Что есть по металлу.

Тарас притащил всё сразу: болгарку с двумя дисками, ножовку, зубило, отрезной по тонкому. Работал он на коленях, переставляя их каждые несколько секунд, потому что приказ был приказ.

Диск он положил на металл в двух пальцах от плеча. Металл взял. Полетела искра, обычная, оранжевая, как от любой стали. Прошёл сантиметр, ещё сантиметр.

— Идёт, — сказал Тарас. — Обычное железо. Мы его вырежем куском и снимем вместе с куском.

— Режь дальше от него, — сказал док.

— Я и режу дальше.

Он углубился, и на третьем сантиметре из-под диска пошла кровь.

Не брызнула. Выступила ровной полосой по линии реза и потекла вниз по шпангоуту, и в жёлтом свете была почти чёрной.

Тарас отдернул руки. Болгарка провыла на выбеге и стихла.

— Я в трёх сантиметрах от него, — сказал Тарас. Он сказал это очень тихо, для себя. — Док. Я в трёх сантиметрах.

Док подставил под струйку ребро кисти, посмотрел и вытер о штанину.

— Артериальная, — сказал он. — Значит, он не в стене. Стена в нём.

Он взял лампу и повёл её вдоль реза, и я увидел то, чего до этого не понимал. Металл шёл внутрь. Он не кончался на плече — он продолжался в человеке, как продолжается пропитка в ткани, и там, где он шёл, крови не было вовсе, а по краю она была.

Стец смотрел на нас всех по очереди, и лицо у него всё ещё было спокойное.

— Плохо? — спросил он.

— Мы сейчас пойдём выше, к ключице, — сказал док. — Там кости больше, там граница может быть чище.

— Врёшь ты, — сказал Стец без злобы.

— Вру, — сказал док.

Он всадил ему в бедро шприц-тюбик через штанину, потом взял у Тараса ножовку и стал пилить сам, короткими ходами, поперёк, выбирая линию по своему счёту. Мыш держал фонарь. Аглая держала Стеца за здоровую руку. Тарас стоял с зажимом наготове.

На третьем ходу ножовка открыла подключичную.

Оно пошло толчками, вверх и в сторону, и легло Тарасу на грудь, и на переборку, и на лампу. Лампа зашипела. Док бросил ножовку и полез двумя руками, и я видел, как он ищет пальцами то, что уже не в человеке, а в шпангоуте, и не находит края, потому что края нет.

Стец сказал: «О». Один звук, тихо, как удивился.

Потом он обмяк и повис на плече, на том, которого не было.

Док сидел на пятках и держал руки на весу, потому что положить их было некуда.

Тишина в трюме была не полной. За переборкой шли дюзы, в такт, левый борт, правый, левый — Тарас выставил рубильник на автомат перед тем, как спуститься, и корабль всё это время исправно кашлял и держал нить.

— Он стоял на вахте, — сказал Мыш. — Он у этой стенки стоял вчера. И сегодня встал на то же самое место. Он привык.

Аглая расстегнула на Стеце нагрудный карман и вынула оттуда всё, что там было: пачку карточек с фамилией, огрызок карандаша, гайку на шнурке — такую же, как у Тараса, только меньше, — и половинку галеты, завёрнутую в тряпицу на потом.

— Вырезать его нельзя, — сказала она. — Значит, оставим здесь. Отсек закроем. Приход не запишу как аварию.

— А как? — спросил Тарас.

Аглая не ответила ему. Она посмотрела на меня.

— Дан. Ты у нас читаешь чужое железо. Скажи словами, что это было.

Я стоял и смотрел на плечо в стене, и в жиле на шее у меня было пусто и ровно.

— Оно сшивает, — сказал я. — То, что оказалось рядом дважды. Не рвёт, не грызёт, не давит. Сводит две поверхности в одну, и всё. Настил и мою подошву. Его плечо и шпангоут. Оно ждёт, когда что-нибудь постоит на одном месте два раза, и делает из этого одну вещь.

— Почему не сразу?

— Потому что один раз — не рядом, — сказал я. — Один раз это просто прошёл. Ему нужно, чтобы ты вернулся.

Тарас вытер лицо предплечьем и размазал.

— Я вчера лежал под щитом. Час лежал. И сегодня опять полез бы туда же.

— Уже нет, — сказал я.

Я попросил у Рины карандаш и пошёл в кают-компанию, где у меня в ящике лежали тетради Гессы. Девять её тетрадей, исписанных до последней страницы её мелким почерком, и десятая, пустая, которую она завела и не начала.

Писать левой я научился на Сходнях, от локтя, как учил Клем: кисть не работает, работает плечо. Буквы выходят большие и кривые, на строку их влезает мало. Карандаш всё время просился вбок.

Я открыл десятую тетрадь на первой странице и написал сверху:

«Стежок».

Потом ниже:

«Сшивает то, что оказалось рядом дважды. Ткань и металл, подошву и настил, плечо и шпангоут. Вырезать нельзя: режется по живому, шов идёт внутрь тела. Признак — двойной звук шага на месте; валик по контуру там, где швов не варили.

Правило: не стой дважды на одном месте. Идёшь — иди. Сел — сел один раз и в новом месте. Ждать нельзя.

Сутки 30. Записал Д. Веко. Погиб один.»

Я посмотрел на страницу. Девять тетрадей Гессы были заполнены такими же строчками, и я всю дорогу читал их как чужую мудрость, а тут понял, что каждая её строка стоила ровно этого. Кто-то встал два раза на одно место, и кто-то потом взял карандаш.

Она собирала правила восемьдесят лет. За два дня я добавил первое.

К утру пахло уже не медью, а стынущей кровью, и трюмный коридор был задраен, и по кораблю ходили странно: люди переступали на месте, даже когда стояли и разговаривали.

Рина вытащила меня в носовой блистер, потому что там она с ночи возилась с оптикой.

— Смотри, — сказала она. — Только я тебе сразу говорю, я не понимаю, что я вижу, и не хочу понимать одна.

Блистер отскоблили от изморози ещё в Приюте, и стекло было чистое. Впереди по курсу не было ничего. Не темнота — темноту я видел за Кромкой, темнота имеет глубину. Тут глубины не было. Пространство впереди сходилось.

— Вот горизонт, — сказала Рина и показала карандашом. — Оптический. Граница, где картинка кончается. Я его вчера вечером обвела по стеклу воском, вот метка. А вот он сейчас.

Метка стояла на палец выше того места, где горизонт был теперь.

— Он поднимается?

— Он сжимается, — сказала она. — Со всех сторон одинаково. Как диафрагма. Я мерила по четырём точкам, и все идут внутрь с одной скоростью. Дан, мы не летим по коридору. Мы летим в воронку.

Пришла Аглая, за ней док. В блистере стало тесно вчетвером.

— Дорн подтверждает? — спросила Аглая.

— Дорн говорит то же самое своим протезом, — сказала Рина. — И ещё говорит, что у неё рулевая машинка второй час гуляет. Её тянет и разворачивает.

Корабль дёрнуло. Не толчком, а как дёргает лодку, когда трос натянулся до предела и вот-вот пойдёт по руке. Меня качнуло на левую ногу, и я упёрся здоровой рукой в переплёт блистера.

— Нить натянулась, — сказал я.

— Насколько?

Я не знал насколько. Ухом тут нечего было ловить, костью я слышал только ту же ровную тягу, ставшую жёстче.

— Мне нужен Ключ, — сказал я.

Док молча снял с меня счёт по запястью, глядя на хронометр.

— Сто четыре, — сказал он. — От ста назад по семь. Вслух. Начали.

— Девяносто три. Восемьдесят шесть. Семьдесят девять.

— Хватит. Две минуты, Дан. Перебью на исходе, и ты выйдешь.

Я открыл Ключ.

Мир не изменился. Просто к тому, что я видел глазами, добавилось то, что я слышал всегда, и стало видно.

Мы шли внутри одной нити. Она была не трубой, она была жгутом, свитым из чего-то тонкого, и жгут этот всю дорогу тащил нас в свою середину, и я наконец увидел почему. Впереди, там, где Ринин горизонт сжимался в точку, нить была не одна. Их было много, и они сходились.

Я стал считать.

Одна шла от нас назад, к Приюту. Следующая приходила сбоку и снизу, толще нашей вдвое. Две тонкие, почти без натяга. Пятая гудела так, что заныли корни нижних зубов. Шестая, седьмая. Восьмая приходила сверху и была старая: пережат по ней шёл с запозданием, как по провисшему тросу. Девятая.

Девять.

Они сходились в одну точку и там были сведены и натянуты, и держались не потому, что тянули друг друга. Их что-то держало вместе. В точке схождения стояло тело, плотное и правильное, и оно не гудело, не пело, не отвечало. Оно держало девять струн, как колокол держит струну.

— Девять, — сказал я вслух. — Их девять, и их там сшили.

— Дан. Минута.

— Я вижу.

— Минута сорок, — сказал док.

Я отпустил Ключ. Стало темно, глухо и хуже, и на секунду накатило то самое, что накаывает всегда, — будто из полного отсека разом вышли все люди.

— Курс держать, — сказал я Аглае. — Нас будет тащить последние часы всё сильнее. Тарасу сказать: продувку не прекращать, даже если покажется, что снос кончился. Он не кончится. Он станет ровным, и это будет хуже.

Аглая уже говорила в интерком.

Рина стояла у стекла. Точки свои она мерить бросила и просто смотрела.

— Дан, — сказала она.

Впереди, там, где ничего не было, проступал свет.

Он не был звездой: у звезды нет края, а у этого край был, и край был чистый. И не факелом дюз: факел мигает, дышит и меняет цвет, а этот стоял. Матовое свечение без источника, будто светила сама поверхность, вся сразу и одинаково, и от неё вниз и вбок уходили плоскости, которые уже нельзя было охватить взглядом.

Оно росло не потому, что разгоралось. Оно росло потому, что мы приближались.

Тарас, поднявшийся к нам с ветошью в руках, встал в проёме и не вошёл.

— Ну, — сказал он. — Здорово, коллега.

Свет стоял впереди и не мигал.

Чёрный тёплый свет, если так можно про свет. И я почему-то знал: приложи к нему руку — и рука согреется.

Глава 5. Паперть

Через сорок пять минут у Собора всё ещё не было верхнего края.

Рина мерила его восковыми метками по стеклу блистера, как мерила накануне сжатие горизонта: ставила ногтем точку, ждала, ставила вторую. Между первой и второй у неё уходило по четыре минуты. Точки расползались к переплёту и уходили за него, и она перешла на нижний сектор, потом на боковой, потом бросила воск на планку.

— Он не помещается, — сказала она. — Ни во что не помещается. Я не знаю, что писать в журнал.

— Пиши: габарит не определён, — сказала Аглая от переговорной коробки.

Свет от него шёл ровный и не давал ни одной тени — так не даёт тени небо. Он лежал на переплёте, на восковых крошках, на моей косынке. И на вид он был тёплый. Тёплый чёрный свет, и я который час ловил себя на том, что тянусь приложить к стеклу правую, которая давно ничего не чувствует.

Дальномер врал. Аглая била по нему костяшкой, и он перещёлкивал: восемь километров, двести метров, снова восемь. Эхо возвращалось раньше, чем ушло, потом не возвращалось совсем.

— Приборы можно снимать, — сказала Аглая. — Дан.

Я лёг лбом на холодный переплёт и стал слушать.

Ухом в блистере ловить было нечего. Кость слышала. Жила на шее шла своим тактом, а под ней, ниже и глубже, стояло гудение, ровное и низкое, и оно не совпадало ни с чем на борту. Так гудит натянутый леер, если приложить к нему челюсть. Только леер был не один.

Их было девять.

Я разобрал их по одной, как разбирают жгут проводов, отводя лишние в сторону. Наша нить приходила снизу и сзади, и её тянуло вправо. Толстая, вдвое против нашей, входила сбоку, и по ней шёл пережат тяжёлый и медленный. Две шли почти пустыми: провис, слабина, никакого пения. Пятая ныла в корнях нижних зубов. Восьмая была старая, с запозданием.

И все девять сходились в одно тело, и тело держало их, как колокол держит струну.

— Заходить поперёк нельзя, — сказал я. — Ни на одну из них не ложиться. Между пятой и шестой есть проход, там слабина.

— Где у тебя пятая, навигатор? — спросила Аглая, не оборачиваясь. — Мне нужны румбы, а не номера.

— Снизу слева, на две ладони от края.

Ключи на поясе она тронула не глядя и остановилась на одном.

— Тарас. Как у тебя с продувкой.

— Идёт, — сказал интерком голосом Тараса. — Она сама нас тащит, Аглая. Я третий час не разгоняю, я торможу. У меня заслонка на левой ходит через раз, и я её ласкаю.

— Ласкай дальше.

Собор рос. Он рос не так, как растёт станция на подходе, когда сначала видишь огонь, потом обвод, потом причальные фермы. У него не было ни одного огня. Была плоскость, и на ней вторая плоскость под углом, и обе уходили в стороны, куда взгляд не доставал, и по всей длине этих плоскостей я не увидел ни одного шва.

Ни сварки. Ни заклёпки. Ни стыка листов.

— Вилена, — сказала Аглая в коробку. — Ты видишь что-нибудь, чего не видим мы?

Луч связи держался с ночи. «Коршун» шёл в четырёхстах метрах у нас в кильватере на такте моего счёта, и Дорн отвечала не сразу: сперва доводила картинку, потом говорила.

— Вижу галерею, — сказала она. — Правее вашего курса на три градуса, ниже. Длинная выемка в теле. По ней девять гнёзд.

— Девять, — повторила Рина и обернулась ко мне.

— Девять, — подтвердила Дорн. — По числу ваших струн, надо полагать. Из них рабочих три.

— Как ты это определяешь?

— По грязи. Шесть гнёзд чистые, там камень такой же, как везде. В трёх есть натёртости и следы отходящих газов на срезе. Второе слева, среднее и крайнее правое. У среднего натёртость свежая. Там стоял катер, и стоял недавно.

Аглая молчала. Она вела пальцем по нижней кромке блистера, отсекая по стеклу дугу, и я видел, как эта дуга ложится мимо пятой струны.

— Значит, среднее, — сказала она. — Заходим по слабине, встаём в среднее гнездо, оба борта в одну галерею. Вилена, ты за нами и правее, чтобы твои стволы смотрели в пустоту. Мне не нужно, чтобы твой фрегат целился в святыню.

— Стволы обесточены с Приюта.

— Мне нужно, чтобы это было видно снаружи, а не в твоей ведомости.

Пауза.

— Приняла, — сказала Дорн.

Аглая отпустила тумблер, отвинтила крышку фляги и завинтила обратно, не отпив.

— Одиннадцать человек, — сказала она. — Нас на борту семеро с двумя людьми Клема, у Дорн четверо. Одиннадцать душ на весь этот сарай.

Она сказала это ровно, как говорят про массу груза. Рина хмыкнула и тут же перестала.

Мы прошли слабину в одиннадцатом часу по корабельному, и вот тогда стало слышно ушами. Гудение вошло в корпус и пошло по шпангоутам, низкое, ниже всякой машины. Оно было не в железе. Оно стояло снаружи и вокруг, а железо только повторяло его, как повторяет стакан, поставленный на работающий кожух.

Тарас снизу сказал в интерком одно слово. Слово было не для журнала.

Плоскость закрыла всё стекло. Потом в ней открылась выемка, длинная, с ровным дном, и в дне пошли гнёзда: тёмные прямоугольные ниши с механическими лапами по краям, и лапы были откинута и ждали.

Свет в галерее стоял такой же, как снаружи. Из камня. Ровный.

— Малым, — сказала Аглая. — Носом на середину. Тарас, левую не жалея.

Мы вошли в среднее гнездо в десять сорок.

Захваты не взяли.

Тарас дал ток на магнитные подошвы, и я по интеркому слышал, как он их гоняет: щелчок, тишина, щелчок. На железе это звучит одним ударом в корпус. Тут не было ничего.

— Ноль, — сказал он. — Аглая, у меня полное поле и ноль. Он их не видит.

— Проверь пластины.

— Пластины я вчера проверял на твоей же переборке, они прилипли так, что я их отдираю ломиком. Тут камень. Он тёплый, и он на магнит не отвечает.

Мы стояли в гнезде без сцепки, и нас медленно, по сантиметру, разворачивало кормой к левой стенке выемки. Я это видел через щель в переплёте, по тому, как ползёт край ниши.

Вышли в шлюз втроем: Аглая, Тарас и я. Док спустился следом с сумкой, потому что док спускается всегда.

Наружная створка ушла в сторону, и в лицо пошло тепло.

Не с корабля и не из отсека. Тепло шло от стены. Галерея была под давлением, и давление держалось по всей её длине. Ни купола, ни поля, ни шлюзовых ворот на выходе я не увидел. Увидел проём высотой метров в двадцать, за проёмом чёрное ничто без звёзд, и воздух стоял у этой границы, как вода стоит у стекла.

Тарас вышел на настил первым и присел на корточки.

— Он тёплый, — сказал он. — Аглая, он тёплый, как батарея в общежитии. Ровно. Он тут везде такой?

Он приложил ладонь. Потом достал из кармана ключ на двадцать четыре и стукнул по каменной тумбе у среза гнезда.

Звука не было.

То есть удар был, я его видел, ключ отскочил и Тарас поймал его на лету. Но того, что должно идти после удара, гула, отзвука, короткого щелчка в пустоте, не пришло. Ключ ударил в тумбу, и тумба съела всё.

Съело, подумал я. Не отдало даже эха.

Тарас ударил ещё раз, сильнее. Так же.

— Не отзывается, — сказал он. — Я по железу всю жизнь стучу, я по стуку скажу, что там внутри. Тут внутри нету «внутри».

Он вытер руки промасленной ветошью, сунул её за пояс и засвистел сквозь зубы. Мотив был верфяной, из Тупика, под него на стапелях считают такт, когда тянут трос вручную.

Свист оборвался.

Слева по галерее шли четверо.

Тёмные шерстяные рясы поверх стёганных рабочих комбинезонов, подпоясаны верёвкой. Карабины на ремнях, стволы вниз, но пальцы лежали правильно. Шли не строем, шли как ходит рабочая смена, которая тысячу раз ходила этой дорогой. Первый был немолодой, с обгоревшим до пятна левым виском.

Они встали в восьми шагах и развернулись так, что накрыли и наш трап, и трап «Коршуна», уже опустившийся во второе гнездо справа.

— Борт не швартован, — сказал первый.

— Борт не швартуется, — ответила Аглая. — У вас камень не берёт магнит.

— Камень не берёт ничего. Слева от вас скоба. Заводите ус в скобу, стопор пойдёт сам.

Тарас пошёл, куда сказано. Я пригляделся и сначала ничего не нашёл: скоба лежала в теле ниши так же ровно, как всё остальное, без выступа и без кромки. Тарас сунул в неё стальной ус, и ус ушёл до упора, и лапы закрылись сами: без питания, без гидравлики, без звука.

Корабль сел. Толчок пришёл в подошвы и в колени, и ползти под ногами перестало.

Тарас поглядел на ложемент, потом на свои руки.

— Оно ждало, — сказал он тихо, мне. — Оно, зараза, три сотни лет тут стояло с открытой лапой и ждало ус.

— Оружие, — сказал печатник с обгоревшим виском.

— Что оружие? — спросила Аглая.

— Всё, что стреляет, режет и колет. Выносите на конторку, вносим в книгу под опись. Пока не внесено, дальше вон того шва по настилу никто не идёт.

Я посмотрел на настил. Через галерею, поперёк, шла полоса чуть иного оттенка, шириной в ладонь. Она не была ни краской, ни накладкой. Камень просто менялся, как меняется вода на границе течения.

Позади зашипел трап «Коршуна», и по галерее пошла Дорн с тремя своими. Без брони. Без шеврона. Руки на виду.

Печатники повернули к ней головы все четверо разом, и вот это мне не понравилось сильнее карабинов.

Док встал у меня за плечом, машинально хлопнул себя по нагрудному карману, вынул папиросу, и она даже дошла до губы. Ближний печатник посмотрел на него. Просто посмотрел, без слова. Док одёрнул полу куртки, спрятал папиросу обратно и стал катать её в кармане пальцами.

— Капитан Бер, — сказала Аглая печатнику. — Молчун, трамп, регистр Тупик. Со мной фрегат сопровождения. Мы пришли говорить.

— Говорить будете за швом, — сказал печатник. — Оружие вперёд.

Аглая сняла карабин из-за спины и положила на настил перед собой, потом отстегнула кобуру и положила рядом. За ней выложил свой Тарас, потом двое людей Клема, спустившиеся последними, сложили свои и отступили на шаг. Дорн положила пистолет, отстегнула ремень и положила его сверху.

Я стоял с пустыми руками. У меня их полторы, и обе пустые.

Печатник обошёл сложенное, не наклоняясь. Считал глазами.

— Семь стволов, — сказал он.

— Восемь, — сказала Аглая. — У механика в голенище нож, и он про него забыл.

Тарас крикнул и вынул нож.

— Это не оружие, — сказал он. — Это инструмент. Им сало режут.

— В книгу пойдёт как нож, — сказал печатник. — Сало вам вернут вместе с ним, когда будете уходить.

Внутренний рубеж галереи выглядел как контора грузового двора, если контору грузового двора вырубить в одном куске тёплого чёрного камня и убрать из неё всё, кроме стола.

Стола, впрочем, тоже не было. Была тумба, выросшая из настила, и на тумбе стоял деревянный пюпитр, притащенный сюда людьми: некрашенная доска, петли, сточенные до блеска. За пюпитром стоял послушник лет девятнадцати, в такой же рясе, но без карабина, и перед ним лежала шнуровая книга, толстая, с продетым сквозь корешок шпагатом и сургучом на узле. Чернильница была ввинчена в пюпитр медным хомутом.

Он писал наши стволы. По одному, с описанием, длинной строкой, и почерк у него был ровнее, чем всё, что я видел за два месяца.

— Карабин ударный, ствол короткий, ложе битое, ремень брезентовый, — читал он вслух себе под нос. — Один.

Рина стояла рядом: она сошла с трапа последней, с журналом под мышкой, и до сих пор его держала, будто он её тут оправдывает. Она разглядывала руки послушника. Потом свои. Потом убрала свои за спину.

Я её понял. У неё ногти были содраны до мяса на трёх пальцах: она вторую неделю чистит штекеры булавкой, паяет гвоздём и выковыривает крошку из защёлок. У послушника руки были чистые до синевы под кожей, ногти подрезаны ровно, и на рукаве не было ни пятна.

— Не прячь, — сказал я ей вполголоса. — У него руки чистые, потому что он ничего не делает.

— Он пишет.

— Пишет он тоже за нас.

Она фыркнула и рук не вынула.

Воздух за швом был другой. Сухой, и в нём стоял чад: горелая смола с чем-то травяным, тонкий, стелющийся понизу. Пахло не сегодня и не вчера, а триста лет подряд, и запах уже сидел в камне. От него у меня сразу пересохло в горле, и я вспомнил, что воду мы пьём по норме.

Гудение струн тут было слышно грудью. Ровное, низкое, без ритма. Оно не приходило и не уходило, оно просто было, как бывает под ногами палуба.

Старший печатник с обгоревшим виском стоял у пюпитра, и напротив него стояла Аглая, и разговор шёл уже пятую минуту.

— Нас триста сорок два, — говорила Аглая. — Семь вымпелов и станция. Паёк на двадцать пять суток, и это счёт, а не разговор. Мне нужно продовольствие. Я плачу работой, железом, кабелем и людьми на любые ваши работы. Мне нужно только сесть с вашим келарём и посчитать.

— Орден не торгует, — сказал печатник.

— Орден ест.

— Орден ест своё.

Аглая выпрямила спину и не повысила голоса. У неё это работает наоборот: чем тише, тем хуже собеседнику.

— У меня в караване сто с лишним человек, которые до этого года не знали, что такое сытый день, — сказала она. — Я их не сюда вела. Я их вела в живое место. Вот я стою в живом месте, и мне говорят, что оно ест своё.

— Вам говорят правду, капитан. Устава святылища я под ваш счёт не перепису.

Дорн стояла в трёх шагах, у самой стенки, и молчала. Она стояла так, как стоят люди, привыкшие, что за них говорит форма. Формы на ней не было с самых Сходней. И всё равно.

Послушник поднял глаза от книги и посмотрел на неё второй раз. Потом третий.

— Отче, — сказал он старшему. — Она стоит по-гильдейски.

Старший обернулся.

— Как это, по-гильдейски? — спросил Тарас громче, чем следовало. — Ногами вниз, как все.

— Руки, — сказал послушник и покраснел, но договорил. — Досмотровые партии так стоят. Левая ниже правой, ладонь развёрнута. Их за год через нас проходит четыре, я всех пишу в книгу. И у них на левой всегда протез. У неё тоже.

В галерее стало тихо.

Ровно настолько, чтобы я услышал, как гудят струны.

Четыре карабина поднялись не быстро и не резко, и это было хуже, чем если бы их вскинули. Их поднимали, как поднимают инструмент, которым каждый день работают.

— Знаков различия на мне нет, — сказала Дорн ровно. — Полномочий тоже. Я частное лицо.

— Гильдейцы у нас в книге пишутся отдельной строкой, — сказал старший печатник. — Частных лиц у Гильдии не бывает.

— Опустите стволы, — сказала Аглая. — Она сошла с трапа безоружной первой из всех.

— Опустим, когда скажут опустить.

И тогда в галерее пошли шаги.

Я их услышал раньше, чем повернулся, потому что тут шаг звучал странно: камень его не отдавал, но подошва скрипела о камень, и получался звук без глубины, будто человек идёт по толстому войлоку. Шаг был неторопливый и длинный.

Он вышел из проёма в дальней стенке, и с ним вышли двое послушников, и остановились в стороне.

Высокий, сухой, старый. Ряса тёмная, на груди вышит круг с ключом внутри, шитьё старое, латаное по краю другой ниткой. Борода седая, и он вёл по ней пальцами сверху вниз, один раз, второй. Руки у него были в шрамах: старых, белых, поперёк тыльной стороны кисти, какие остаются, когда много лет держишь то, что не хочет, чтобы его держали. На шее кожаный шнурок, и на шнурке кусок чего-то тёмного, обломанного по краю.

Карабины опустились сами.

— Отец Авдей, — сказал старший печатник и склонил голову.

Он остановился в середине рубежа и посмотрел на нас. Не быстро. Он смотрел так, как смотрит приёмщик на пришедшую партию: сначала общим счётом, потом по одному.

Тарас в масле, с ветошью за поясом. Рина с руками за спиной. Док с пальцами в кармане. Двое людей Клема у стены. Дорн у стенки. Аглая перед пюпитром, прямая, с ключами на поясе.

Аглая шагнула вперёд.

— Капитан Бер, — сказала она. — Молчун. Я говорю за караван и я прошу...

Он прошёл мимо неё.

Не грубо. Он не оттолкнул её и не оборвал, он просто прошёл мимо, как проходят мимо стула, стоящего в проходе, и оставил её слова висеть в сухом ладанном воздухе.

Он шёл ко мне.

Я стоял у стенки с рукой на брезентовой косынке. Кисть у меня серая и сухая, и я её не прячу, потому что прятать нечего, а бинтов на неё док не тратит. Жила на шее у меня в тот момент шла своим тактом, и я его чувствовал зубами.

Он остановился в двух шагах. Я думал, что мы вровень, а пришлось поднять глаза.

И он посмотрел сперва на шею. На жилу.

Потом на руку. Потом уже в лицо.

— Отче, — сказала Аглая ему в спину. Голос у неё сел на полтона. — Он мой человек, и он...

Авдей поднял левую руку и повёл ею перед собой: сверху вниз, потом поперёк, и в конце замкнул пальцами круг и вложил в круг сложенные щепотью пальцы правой. Круг с ключом внутри. Тот же знак, что у него на груди, только по воздуху.

Послушник за пюпитром положил перо в желобок и встал.

Ладан стелился понизу. Струны гудели в камне.

— Веко, — сказал Авдей негромко, и негромко его услышали все. — Чадо. Младший.

Он опустил руку.

— Долго же ты шёл к смене.

Глава 6. Орден не торгует

Отец Авдей развернулся и пошёл обратно к тому входу, из которого вышел, и это было хуже всего, что он мог сделать. Он не приказал нас увести. Он не спросил, кто мы и зачем. Он сказал мне про смену, поглядел на жилу у меня в шее и ушёл, а мы остались стоять на рубеже — одиннадцать безоружных с пустыми петлями на поясах.

Аглая осталась стоять к нему лицом. Спина у неё была прямая, как всегда, и по этой спине я понял, что она считает: сколько шагов, сколько секунд, успеет ли она сказать ему в спину то, ради чего мы сюда шли.

Она успела.

— Отче. Со мной семь вымпелов и лагерь. Триста сорок два. Еды на двадцать пять суток.

Он не остановился. Он поднял руку и повёл ею в сторону, будто отодвигал занавесь, и от боковой стенки отделилась женщина, которую я до этого не видел.

— Келарь, — сказал Авдей. — Пелагея. Проводи гостей вниз.

И вышел.

Женщина была сухая, пожилая, ниже меня на голову. Поверх серого платья грубый парусиновый фартук, вытертый на животе до белизны. На поясе кольцо с ключами, штук двадцать, бронза, тёртая до жёлтого. В левой руке она держала деревянные счёты и держала их так, как Тарас держит ключ на двадцать четыре: не напоказ, а потому что сейчас понадобится.

Она оглядела нас и сказала:

— Одиннадцать.

— Одиннадцать, — подтвердила Аглая.

— Одиннадцать, — повторила Пелагея, и костяшка на верхней проволоке ушла влево.

Печатники встали по двое спереди и сзади. Карабины они снова закинули за спину — целиться в тех, у кого только что отобрали ножи, тут считалось неприличным, а вот идти в затылок считалось нормой. Старший, тот, что диктовал опись, кивнул на левый проём.

— Вниз, — сказал он. — И к среднему проёму не подходить.

Средний был третий из трёх, и он был закрыт. Не створкой. В нём висела ткань, тяжёлая, тёмная, до самого камня, и вдоль края у неё шла вышивка, и в вышивке я узнал круг с ключом внутри. Из-за ткани тянуло низким и мерным, и это отдавало мне в челюсть.

Я задержал шаг на полшага.

Тарас взял меня за локоть здоровой руки, коротко, будто поправил, и мы пошли.

Спуск начался сразу за входом и был не лестницей. Пол просто уходил вниз длинной пологой лентой, широкой, метров восемь, и на этой ленте не было ни ступеней, ни насечки, ни поручня — и никто не поскользнулся ни разу, включая Рину, которая ходит по трапам так, будто трапы ей должны. Я попробовал подошвой вбок. Подошва держала.

— Как? — спросила Рина в голос.

Никто не ответил.

Свет шёл из камня. Он не падал сверху, он был просто везде одинаковый, и от этого у нас не осталось теней: мы шли вниз, а под нами не двигалось ни пятна. Я поймал себя на том, что смотрю на пол под Тарасом и жду, что тень догонит.

Стены здесь были такие же тёплые, как наверху. Я вёл по ним левой ладонью, и камень был как борт корабля, у которого только что заглушили машину: не горячий, живой. Правой я не вёл. Правая у меня давно не чувствует ни тепла, ни шершавости — водить ею всё равно что чужой перчаткой на палке.

Мы прошли мимо трёх входов.

Первый был широкий и закрыт такой же тканью с кругом и ключом. Второй — уже, и оттуда шёл голос: один, читал нараспев, слова я разобрать не мог, а такт разобрал. Такт

был четыре и четыре, с провалом на конце. Третий вход был высокий, в полтора роста, и из него не доносилось ни звука, но у самого края стоял послушник и смотрел, как мы идём, и не отвернулся, пока мы не прошли.

— Неф, — сказала Пелагея, не оборачиваясь. — Туда ходит братия.

— А мы? — спросила Рина.

— А вы вниз.

Дорн шла третьей с конца, между двумя людьми Клема, и печатник, который шёл за ней, держался от неё на шаг дальше, чем от остальных. Она это знала. Она шла так, чтобы ему было удобно её видеть, и левую руку с восковой кожей держала на виду, и ни разу не убрала её в карман. Я двадцать суток смотрю, как она это делает, и до сих пор не понял, чего в этом больше — привычки или расчёта.

Аглая шла первой, рядом с келарем, и один раз опустила руку на пояс.

Там, где у неё двадцать лет висит гвоздодёр, была пустая петля.

Она нащупала петлю, дёрнула ткань комбинезона вниз, будто ткань виновата, и убрала руку за спину.

Спуск кончился аркой, и за аркой в лицо пошло тепло.

Не такое, как от камня. Мокрое.

Я его сначала унюхал, а потом уже сообразил, что унюхал.

Земля.

Не грязь, не пыль, не ржавчина в воде из технической цистерны — земля, чёрная, мокрая, та, которая пахнет так, что у тебя во рту становится сыро. Я такой запах слышал два раза в жизни: на верфи в Тупике, где под четвёртым стапелем в ящике из-под электродов жил чей-то лук, и один раз в детстве, куда я лучше не пойду.

Док остановился в арке.

Он стоял, задрав подбородок, и втягивал воздух ноздрями, длинно, и это было слышно.

— Двадцать лет, — сказал он в сторону, никому. — Двадцать лет не чуял настоящей грязи.

— Идите, — сказал печатник.

Док пошёл. Незажжённую папиросу он катал в пальцах, а после арки сунул в карман и больше не доставал.

Житница была больше нашего трюма раз в сорок.

Она уходила вдаль так, что дальний край растворялся, и вся она была разбита на лотки — длинные каменные корыта в три яруса, поставленные рядами, а между рядами проходы в два плеча. По лоткам шла вода. Её было слышно всё время: шелест, который ни разу не сбился и ни разу не изменил тона, а под ним, глубже, гудели насосы, и насосов не было видно нигде.

В лотках росло.

Я не знаю названий. Половина была низкая, густая, зелёная до синевы; половина стояла в рост, с колосом, и колос был тяжёлый, и стебель под ним гнулся. Между рядами тянуло сквозняком, прохладным, и сквозняк шёл ровно поперёк, от стены к стене, и от него верхушки колосьев качались все в одну сторону и все с одной скоростью.

Свет шёл из камня, как везде. Только тут он был чуть желтее, и я не понял, камень это желтее или мне так кажется от зелени.

Двое послушников прошли мимо с плетёными корзинами. В корзинах было зерно. Они оглядели нас так же, как тот, у Нефа: без страха, без злобы, как смотрят на технику, которую завезли и ещё не решили, куда ставить.

Тарас отстал на полшага. Я видел, как он это сделал: наклонился к нижнему лотку, будто у него развязался ботинок, и сунул два пальца в землю.

Растёр.

Понюхал.

Повернулся к Рине с таким лицом, какого я у него не видел ни в бою, ни в Обратке, ни когда он держал меня за комбинезон в закрывающемся створе.

— Рина, — сказал он шёпотом, который слышала половина яруса. — Это чернозём.

— И что?

— Это чернозём. Не гидропоника. Земля.

— Ты откуда знаешь, как пахнет земля?

— А ты откуда знаешь, как пахнет солярка? Работал.

Он вытер пальцы о штаны и пошёл дальше, и всю дорогу до конторки нюхал свои пальцы, и один раз ещё.

Рина на ходу подобрала с настила сухой колосок, оброненный из корзины. Оглянулась. Сунула в нагрудный карман и застегнула клапан.

Пелагея остановилась у каменной конторки в торце первого ряда. На конторке лежала книга, толстая, с прошитым корешком, и стояла лампада — плошка с маслом и фитилём, и она горела. Единственный живой огонь, который я видел на этой станции. Всё остальное тут светилось само.

Келарь поставила счёты на камень.

— Говори, — сказала она Аглае.

— Капитан Бер. Молчун.

— Я слышала наверху. Говори по делу.

Аглая переступила и встала так, как встаёт, когда собирается говорить долго и не собирается повторять.

— Триста сорок два человека. Семь вымпелов и лагерь. Паёк — двадцать пять суток, считано вчера, с урезанной нормой. Через двадцать пять суток у меня начнут умирать, и первыми пойдут не старые, а те, кто работает.

Пелагея слушала. Пальцы у неё лежали на верхней проволоке счётов и не двигались.

— Дальше.

— Я не прошу подаяния. У меня есть чем платить. Кредиты Гильдии — сколько скажете, они у нас чистые, из расчётного центра Спицы. Металл: прокат, прутки, электроды-четвёрки, восемь метров кабеля двести квадратов. Люди: механик, который варит любой шов, и шесть человек, которые за сутки поставят вам что угодно, если у вас есть что ставить. Врач. Я готова слушать, что вам нужно, и я готова торговаться.

Костяшка не двинулась.

— Орден не торгует, — сказала Пелагея.

— Это я уже слышала наверху. Наверху это сказал человек с карабином, и я решила, что это его собственное мнение.

— Это не мнение. Это устав.

— Устав можно...

— Нельзя.

Она это сказала без нажима, ровно, как говорят «вторник».

— Слушай, женщина, — сказала Пелагея. — Я тебе объясню один раз, а дальше ты будешь спрашивать, и я буду отвечать то же самое, и мы обе устанем.

Она тронула нижнюю проволоку счётов, и костяшка стукнула о боковину.

— У Собора есть свой круг. Вода в нём ходит по кругу. Воздух ходит по кругу. Земля берёт то, что мы отдаём, и отдаёт то, что мы едим. Круг замкнут триста лет, и он посчитан на братию. В него ничего не входит извне и ничего не выходит. Твой прокат в него не входит. Твои кредиты в него не входят. Кредит нельзя съесть и нельзя посадить.

— Ремонт — это не кредит.

— У нас нечего ремонтировать. — Она повела рукой вдоль лотков. — Тут за триста лет не сломалось ничего. Ни разу. Ты понимаешь, что я говорю? Ни насос, ни аэратор, ни лоток. Твой механик мне не нужен, и, если ты его сюдапустишь с ключом, я его выведу за ухо.

Тарас за моей спиной перестал нюхать пальцы.

Я смотрел на лотки и считал ряды.

Считать я умею плохо, когда стук в челюсти идёт своим тактом, но тут стука не было — тут было ровное, из-за ткани наверху, и оно ушло, как только мы спустились. Я сосчитал ряды до дальнего края, где всё расплывалось, и сбился на девятнадцать, и начал заново, и получил девятнадцать снова. Три яруса. Каждый ярус — метров шестьдесят.

Я поделил в уме на миски. Получилось много.

Слишком много на шестьдесят один рот.

— Сколько вас? — спросил я.

Все повернулись. Печатник у меня за спиной шевельнулся. Аглая скосила на меня глаза так, как делает, когда хочет сказать «Дан, молчи», и не сказала.

Пелагея повернулась ко мне первый раз с той минуты, как назвала цифру одиннадцать.

Она смотрела на шею.

— Шестьдесят один, — сказала она. — Братия, послушники, келарь. До эскадры экзарха.

— А растёт на сколько?

— На больше.

— Насколько на больше?

Она положила ладонь на счёты.

Костяшки пошли под пальцами, и я не успел уследить за порядком: она их не двигала по одной, она вела их горстью, и они щёлкали, и щелчки складывались в такт, и такт был не наш, не корабельный, четыре и четыре с провалом на конце — тот же, что читал голос у второго входа наверху.

Она остановилась.

— Круг держит четыреста человек сверх братии, — сказала Пелагея. — Если резать норму. Хлеб, зерно, зелень, вода. Мяса нет и не будет.

В Житнице стало слышно, как шелестит вода.

Триста сорок два.

Четыреста.

Я стоял и смотрел на бронзовые ключи у неё на поясе и думал одну очень простую вещь, которую додумывать было противно: между нашими людьми и этой землёй нет ничего, кроме кольца с ключами на верёвочном пояске сухой женщины ростом мне по плечо.

— Мы влезает, — сказала Аглая.

— Влезаете.

— Тогда назови цену. Любую. Я не уйду отсюда без цены.

Пелагея сняла ладонь со счётов и сложила руки под фартуком.

— Цена не моя, — сказала она. — Цена наверху.

— Значит, я пойду наверх.

— Тебя туда не пустят, и цену тебе уже называли. Ты просто её не расслышала. — Она повернулась ко мне. — Отче сказал тебе четыре слова. Повтори их.

Я сказал:

— Долго же ты шёл к смене.

— Смена — это Чин, — сказала Пелагея. — Литургия у алтаря. Малую мы служим шесть раз в сутки триста лет. Ты выйдешь к алтарю и отстоишь ближайший большой вместе с братией. Один раз. Тогда я открою второй ярус и начну грузить твои триста сорок два рта.

Вот и цена. Цена — я.

Я услышал, как Аглая набрала воздуха.

— Нет, — сказала она.

— Я не с тобой говорю, женщина.

— Ты говоришь на моём борту записанным человеком. Судовая роль у меня, подпись у меня, ответственность у меня. Ты хочешь взять моего навигатора и поставить его в свой обряд.

— Я хочу, чтобы он постоял у алтаря.

— Зачем?

Пелагея молчала ровно столько, чтобы стало ясно: она знает ответ и не скажет его целиком.

— Затем, что с ним Чин выйдет чисто, — сказала она.

Мы стояли между лотками. Сквозняк шёл поперёк, колосья гнулись все в одну сторону, вода шелестела, насосы гудели под камнем.

Док подошёл ко мне сбоку. Молча. Взял левое запястье двумя пальцами, подержал, отпустил.

И вот тогда я поверил, что мы влипли, — потому что док считает меня, только когда считать уже есть что.

Кельи были в толще камня, без дверей.

Проёмы в стене, в каждом занавесь, за занавесью каморка два на три: каменная лежанка с тюфяком, каменная полка, миска. Ни петли, ни скобы, ни щеколды. Занавеси серые, тяжёлые, и низ у них подшит так, чтобы лежал на полу.

Трапезная была рядом: длинный зал, длинные столы, и на столах в ряд стояли миски. Их никто не считал, кроме меня. Я насчитал шестьдесят одну и после этого сел.

Нас привели туда и оставили сидеть. Печатники встали у обоих концов зала. Двое из вахты Клема сели в дальнем углу и не разговаривали. Дорн села к стене, спиной к камню, лицом к выходу, и я подумал, что это у неё двадцать лет, а не сегодня.

Пелагея пришла минут через сорок, с двумя послушниками. Послушники поставили на стол глиняный кувшин с водой и блюдо с хлебом — тёмным, плотным, тёплым.

Никто не тронул.

— Ешьте, — сказала Пелагея. — Это не цена. Это хлеб.

Тарас посмотрел на Аглаю. Аглая кивнула. Тарас разломил и раздал, и себе взял горбушку, и я видел, как он себя заставил взять кусок меньше, чем брала Рина.

Хлеб был настоящий. Я такого не ел никогда. У нас в Тупике хлеб — это порошок, вода и совесть пекаря.

— Я отвечу на твоё «зачем», — сказала Аглая, дожевав. — Не тебе. Себе. Ты хочешь моего человека, потому что у него в шее ходит жила и потому что у вас в книгах записано, что такой человек к чему-то у вас подходит. И это значит, что первый раз он тебе понадобится один раз, а второй раз он тебе понадобится всегда.

— Всегда — это долго, — сказала Пелагея. — Он столько не проживёт.

Док положил хлеб на стол.

Медленно.

— Повтори, — сказал он.

— Я келарь, а не врач, — сказала Пелагея. Она подобрала со стола хлебную крошку и положила её обратно на блюдо. — Но я тридцать лет вешаю норму на едока и знаю, кто сколько съедает. Он ест на две трети. Он держит кружку левой. Кожа на кисти сухая, как прошлогодний лист. У нас такое было дважды за мою жизнь, оба раза после Чина, и оба раза я вешала норму до конца и знала, когда перестану.

— Оба раза кто? — спросил я.

Она посмотрела на меня и не ответила.

— Значит, было двое, — сказал я. — До меня. Здесь.

— Ешь хлеб, чадо.

Аглая встала.

— Слушай меня внимательно, — сказала она. — Я с борта людей не выдаю. Я это говорила смотрителю Гильдии с восемью стволами по борту, я это говорила человеку, который потом взорвал мне тракт, и я это говорю тебе через стол с хлебом. Не выдаю. Ни на час, ни на обряд, ни за еду.

— Тогда твои люди будут есть двадцать пять суток, — сказала Пелагея.

— Двадцать четыре, — сказал Тарас негромко. — Сегодня тоже сутки.

Аглая на него не посмотрела.

— Мне нужно время, — сказала она.

— Сколько?

— До вечера.

Пелагея подумала. Это было единственное место в разговоре, где она думала.

— До вечерней службы, — сказала она. — Она у нас шестая. После неё я иду в Житницу и записываю, что грузить на завтра. Что запишу — то и будет.

— Хорошо.

— И ещё, женщина. — Келарь взяла со стола пустую миску, заглянула в неё и поставила обратно донцем точно в круглый след на камне. — Не думай, что я тебя мучаю. Я считаю. Ты придёшь ко мне вечером и назовёшь ту же цифру, и я назову тебе ту же. Разница только в том, что у меня к вечеру не сдвинется ничего, а у тебя сдвинется всё.

Она пошла к выходу. У выхода обернулась.

— Из трапезной в кельи. Из келий никуда. К Нефу не подходить, наверх не подниматься, к вашим кораблям не спускаться. Печатники стоят у обоих концов и меняются каждые четыре часа. Занавесь — это дверь. У нас её не отдёргивают без спроса, и вы не отдёргивайте.

— На занавеси нет замка, — сказала Рина.

— На занавеси нет замка, — согласилась Пелагея. — Замок в другом месте.

Нас развели по кельям. Я не понял, по какому принципу, — а потом понял: меня одного поставили в ту, что ближе всех к выходу, и печатник встал в трёх шагах.

Аглая вошла ко мне без спроса. Отдёрнула занавесь и вошла, и печатник шагнул было, и она посмотрела на него, и он не пошёл.

Она села на край каменной лежанки. В келье было теплее, чем в трапезной, и глуше: звук тут гас сразу, будто его вытирали тряпкой.

Мы сидели молча.

Потом она сказала:

— Ты хочешь пойти.

Я не ответил.

— Дан. Ты хочешь пойти.

— Я хочу знать, что такое их Чин.

— Это одно и то же, и ты это знаешь. — Она свинтила крышку фляги, заглянула в горлышко и вернула крышку на место, не отпив. — Я тебе скажу, что такое их Чин. Их Чин — это шестьдесят один голос, которые триста лет поют в камень одно и то же и получают за это хлеб. Они не знают, что поют. Они знают, когда встать и когда сесть.

— Тогда почему со мной он выйдет чисто?

Она не ответила. Она завинчивала крышку, которую уже завинтила.

Занавесь висела не шевелясь. Из-под неё в келью шла полоска света такого же, как везде, — ниоткуда, без тени. Я лёг на спину и стал слушать камень.

Камень был тёплый и молчал. А в самой глубине его, глубже, чем стучит сердце, шло то ровное, четыре и четыре с провалом на конце, и оно шло само по себе и не собиралось меня спрашивать.

Пелагея пришла раньше вечера.

Она пришла одна, отдёрнула мою занавесь настолько, чтобы встать в проёме, и в руке у неё была лампада с конторки. Пламя стояло в плоске столбиком и ни разу не качнулось — сквозняка тут не было.

Аглая поднялась.

— Мы договорились до вечерней, — сказала она.

— Мы и договорились, — сказала Пелагея. — Я не за ответом.

Она вошла, поставила лампаду на каменную полку и подняла глаза. Не на шею. В лицо.

— Я сказала тебе про двоих, — сказала она. — Я тебе больше про них ничего не скажу, потому что не мне. Но одно скажу, чтобы ты вечером решал зная, а не гадая. Чин служится завтра в третий час, и он служится не потому, что мы так хотим. Он служится потому, что срок. Мы его не назначаем, чадо. Мы к нему успеваем.

— К чему успеваете?

Она наклонилась и накрыла плоску ладонью.

Фитиль задохнулся. В келье не стало темнее ни на палец — свет как шёл из камня, так и шёл, и от этого погашенная лампада выглядела совсем глупо, и от этого мне стало холодно в первый раз за день.

Она забрала плоску и встала в проёме, спиной к нам, лицом в коридор.

— Чин будет завтра, есть ты у алтаря или нет, чадо, — сказала она ровно. — Просто с тобой он выйдет чисто.

Занавесь легла на место, до самого камня, и снаружи не осталось ни щели.

Глава 7. Строй

Занавесь отдёрнули снаружи, и в келью встал печатник с карабином на ремне.

— Шестая, — сказал он.

Я сел на лежанке. Камень под левой рукой был тёплый, как везде тут, и внутри него шло то же самое: четыре и четыре, и яма на конце. Три часа я лежал и слушал. За три часа оно не сбилось ни разу.

В коридоре уже стояли наши. Аглая впереди, за ней Тарас, док, Рина. Дорн отдельно, у стены, руки опущены, левая — та, восковая, без пор — лежала вдоль бедра так спокойно, что печатники косились на неё по очереди и делали вид, что не косятся.

Аглая нашла меня глазами. Спрашивать не стала.

— Мы идём смотреть, — сказала она. — Не участвовать. Смотреть.

— Мы идём смотреть, — согласился отец Авдей из глубины коридора.

Он шёл к нам сам, без свиты, и седая борода была расчёсана, и на груди у него висел на кожаном шнурке обломок железа, который к рясе не подходил никак. Он остановился в двух шагах и погладил бороду.

— Чадо, — сказал он мне. — Ты не идёшь на службу. Ты идёшь на галерею. Это разные места.

— А что на галерее?

— Перила.

Тарас сзади хмыкнул. Авдей повернул к нему голову и ничего не сказал, и Тарас перестал. Пошли.

Коридор шёл вниз и вбок, тесный: двоим впритирку, третьему не встать. Свет тёк из камня ровно, без источника, без тени под ногой, и от этого казалось, что мы стоим на месте. Потом стена начала холодеть. Я вёл по ней левой — правая у меня давно не докладывает, — и на каждом десятке шагов камень был холоднее, чем на предыдущем. Мы шли к чему-то, что его остужало.

— Далеко? — спросила Рина.

— Двести шагов, — сказал печатник впереди.

Он не соврал. Он их считал.

Рина шла у меня за плечом и ковыряла булавкой штекер наушника. Штекер она паяла третий раз, и он забился ещё на Сходнях, и она это знала, и всё равно ковыряла — иголка скребла о латунь, тихо и часто, и это был единственный человеческий звук на весь коридор.

— Не идёт? — спросил я.

— Идёт, — сказала она. — В одну сторону. Я его слышу, он меня нет.

— Так это и раньше так было.

— Раньше я хоть шум ловила. — Она поднесла булавку к глазам, сдула с неё что-то невидимое. — Тут шума нет, Дан. Совсем. Я вчера думала, аппарат сдох. Аппарат живой. Это место без фона.

Впереди Тарас шёл за спинами двух печатников и повторял их походку. Он делал это молча и всерьёз: спину прямил, руки складывал перед собой, шаг ставил ровно, будто у него внутри маятник. Док увидел, отвернулся, но плечи у него дёрнулись.

— Коваль, — сказала Аглая, не оборачиваясь.

Тарас пошёл как ходит.

Свет впереди изменился. Не стал ярче, стал глубже — так меняется свет, когда коридор кончается и начинается объём. И одновременно я услышал.

Сначала не ушами. Костью челюсти справа, той стороной, где жила, — она приняла толчок и передала дальше, в зубы. Потом уже ушами: низкий гул, много глоток разом, ровно.

— Пятнадцать шагов, — сказал печатник. — Не кричать. За перила не наваливаться. К краю не подходить.

— А если подойдём? — спросила Рина.

— Тогда мы вас держать не будем, — сказал печатник.

Коридор кончился, и мир кончился вместе с ним.

Галерея была узкая, каменная, метра полтора, и она висела в пустоте. Слева стена, справа перила по пояс, а за перилами — ничего. Зал уходил вверх так, что верха я не нашёл: чёрный камень поднимался и поднимался и растворялся в собственном свечении, и оттуда не возвращалось эхо. Вниз он уходил так же, и внизу света уже не было — просто чернота, и в этой черноте что-то было, потому что снизу тянуло. Ровный ледяной сквозняк шёл из провала вверх, вдоль моего лица, и он был холоднее всего, что я трогал в этой станции.

Я взялся за перила левой рукой. Пальцы схватило холодом сразу.

— Ох, — сказала Рина.

Больше она ничего не сказала.

Аглая подошла к перилам, посмотрела вниз, посмотрела вверх и достала флягу. Свинтила крышку, заглянула в горлышко, завинтила обратно. Не отпила.

— Неф, — сказал Авдей. — Двести метров от порога до свода. Дна нет.

— Дно есть у всего, — сказал Тарас.

— У всего, что строили люди.

Тарас взялся за перила обеими руками, наклонился ровно настолько, чтобы увидеть под собой камень, и отступил на шаг. Прижал кулак к груди, к тому месту, где под комбинезоном висит на шнурке гайка. Проверил, там ли она.

Напротив нас, метрах в сорока, у правой стены зала шла ступенями площадка. Три ступени, длинные, вдоль всей стены. На них стояли люди в тёмном.

Я стал считать. Девять в верхнем ряду, девять в нижнем. Восемнадцать.

Перед ними, лицом к ним, спиной к бездне, стояла женщина. Высокая, согнутая в верхней части спины так, что голова уходила вперёд, и от этого казалось, будто она всё время прислушивается. Кожа лица была цвета старой бумаги. На запястье болтались чётки, вытертые до блеска.

— Ждана Хорь, — сказал Авдей тихо. — Регент.

— Сколько она тут? — спросила Дорн.

— Тридцать первый год.

Дорн наклонила голову, и оптический протез на её глазу коротко щёлкнул, наводясь.

— А до неё?

— Четыре, — сказал Авдей. — Все умерли на клиросе.

— От чего?

— От смены, — сказал Авдей и замолчал.

Ждана подняла руку. Не резко: рука пошла вверх, как стрела весов, — до определённого места и там встала.

Хор взял.

Первый звук ударил снизу вверх. Он пришёл не по воздуху — через камень, через перила, через мои кости, и перила задрожали под пальцами мелко и часто. Рина отшатнулась от стены. Тарас вздрогнул всем телом и снова прихлопнул грудь там, где гайка.

Док полез в нагрудный карман за сигаретой. Пальцы уже вытянули её наполовину, когда он поднял глаза и встретился взглядом с Авдеем. Сигарета ушла обратно. Док сунул руку в карман, отвернулся к перилам и сказал в сквозняк что-то короткое, чего Авдею знать не надо.

А хор пел.

Восемнадцать глоток держали одну ноту, потом разошлись на три, потом эти три разошлись ещё, и стало непонятно, сколько их. Гул стоял в зале как вещь, у него был вес. Слова

были не наши: тягучие, с гортанной серединой, ни на что не похожие — ни на эфир, ни на кабаки Тупика, ни на записи Верте. Слова я не понимал.

А потом я перестал слушать ушами.

Я не открывал Ключ. Я его не трогал. Он открылся сам — так же, как в первую ночь на контуре, когда стена оказалась не стеной, — и зал переменился.

Голоса стали видны.

Не как свет и не как линии. Как адреса. Каждый голос уходил вниз, в черноту, и там внизу его ждала своя точка, и точек было девять. Я узнал их сразу, потому что видел их четыре дня назад с борта, когда девять нитей Паутины сходились в узел и мы ползли между пятой и шестой. Это были те же девять. Струны. Их свели сюда и натянули, и станция стояла на них, как гитарный корпус стоит на своём звуке.

Верхний ряд пел на девять адресов. Нижний ряд шёл следом с задержкой и делал то же самое.

Ждана опустила руку. Хор оборвал.

Тишина держалась примерно два удара сердца.

— Пауза, — сказал я вслух.

— Что? — Аглая повернулась.

Хор взял снова, другую фразу, и я увидел, как то, что они успели наговорить, отделилось от того, что они говорили теперь. Пауза его отрезала. Она была не отдыхом певчих. Она была границей между двумя приказами.

— Паузы — это разделители, — сказал я. — Как между словами. Пока они молчат, наверх уходит то, что они уже сказали. Пока поют — набирается следующее.

Аглая не переспросила.

Док подошёл ко мне сбоку, взял меня за левое запястье двумя пальцами и стал смотреть в сторону, в зал.

— Сто, — сказал он. — Назад по семь.

— Сто. Девяносто три.

— Дальше сам считай. Вслух не надо.

Он запястье не отпустил.

Я смотрел и складывал. Высота голоса — это адрес: выше — дальше по кругу струн, ниже — ближе. Длительность — это сколько дать. Пауза — конец команды. Всё вместе — не молитва. Это работа. Это диспетчерская, где вместо тумблеров у людей глотки.

— Дорн, — сказал я. — Сколько их поёт?

— Восемнадцать, — сказала она, не отрываясь от протеза.

— А строй?

— Два по девять.

Вот тогда у меня похолодело изнутри, отдельно от сквозняка.

Их девять в строю, потому что струн девять. Не восемнадцать певчих на восемнадцать дел. Девять адресов, и второй ряд — подмена: сядет глотка у одного, встанет его двойник, и дыра не откроется. А если строй просядет ниже девяти, адрес останется без хозяина.

Я потянулся к этому — не рукой, никак, просто посмотрел внимательнее, — и увидел, что будет. Не картинкой. Ощущением, каким читаешь дверь: пустит или не пустит. Восемь голосов — не пустит. Весь набор сбросится и начнётся заново, с нуля, и всё, что они держали час, отвалится.

— Аглая, — сказал я тихо. — Их нельзя разбивать.

— Кого?

— Хор. Их девять на девять струн. Если один упадёт, вся станция забудет, что ей говорили.

Аглая посмотрела на меня. Потом на клирос. Потом на Авдея.

— Он это видит? — спросил Авдей.

— Он это видит, — сказала Аглая.

Авдей закрыл глаза и не открывал их долго, и борода у него на груди чуть двигалась.

Хор дошёл до места, где фраза шла вверх. И на этом месте два голоса в нижнем ряду разошлись.

Я услышал бы это и без Ключа: две ноты вместо одной, узкие, трущиеся друг о друга. Ждана дёрнула кистью, и нижний ряд подтянулся, и фраза выправилась.

Но выправилась не вся.

Из черноты внизу пришло обратно.

Оно пришло позже, чем должно, и ниже, чем ушло. Тот же кусок фразы вернулся к нам снизу вверх на полтона ниже и лёг поверх того, что пели сейчас. Зал зашелестел. Я слышал, как одна и та же фраза идёт двумя слоями, и второй слой — с той трущейся парой внутри.

— Отзвук, — сказал Авдей.

— Что он делает?

— Достраивает. Что пропели, то он и берёт.

— А если пропели криво?

— Тогда криво и возьмёт, — сказал Авдей. — Навсегда. Оборванного не бросают, чадо. Оборванное доводят до конца, иначе оно так и останется висеть.

Ждана подняла обе руки и держала. Хор не оборвал. Хор повёл ту же фразу дальше, до конца, тяжело, целиком, и я видел, как она сходит вниз к своим девяти точкам вместе с трущейся парой внутри, и как эта пара уходит в станцию.

— Она это слышит? — спросил я.

— Она слышит лучше всех.

— Тогда почему не остановит?

— Потому что нельзя, — сказал Авдей.

Я стоял, держался левой рукой за ледяное перило, и до меня доходило.

Они не понимают, что поют.

Триста лет. Шестьдесят один человек в братии, восемнадцать на клиросе, регенты по очереди: четверо мёртвых и пятая согнутая. Они выучили, где встать, где взять, где отпустить и где замолчать.

Они знают всё про то, как это делается. И ровно ничего — про то, что при этом происходит. Разошлись двое на полтона — станция аккуратно записала грязь себе внутрь, как часть команды. Отменить это в зале не может никто. Увидеть — тоже.

Это не служба. Это вахта у пульта, за которым триста лет стоят слепые.

— Док, — сказал я.

— Сто, — сказал он.

— Пятьдесят один. Сорок четыре.

— Пульс твой мне не нравится. Стой на месте.

Хор дошёл до конца фразы и замолчал.

Пауза.

И в паузе я услышал, чего в ней быть не должно, — шов. Не звук. Ту самую натянутость, которую я щупал костью в шве Мёртвого меридиана, когда отец держал три жилы. Здесь она шла отовсюду: девять струн сведены и натянуты, и то, что делает хор, — это удержание. Их пение не открывает и не строит. Оно держит. Оно каждый час подтягивает то, что каждый час ползёт.

А в удержании уже сидит грязь. Слой за слоем, полтона за полтоном, триста лет.

Я снял руку с перил и обнаружил, что пальцы не разгибаются сами.

— Дан, — сказала Аглая.

— Всё нормально.

— Не ври мне на чужой станции.

— Ладно, — сказал я. — Ненормально. Они его портят. Они его каждый день держат и каждый день немножко портят, и они этого не видят.

Аглая долго молчала.

— Насколько немножко? — спросила она.

Я не ответил. Честного ответа у меня не было. А снизу опять вернулась та трущаяся пара, теперь уже слитая с фразой намертво, и её слышала даже Рина — стояла белая и держалась за камень всей пятернёй.

Авдей повернулся ко мне. Он не гладил бороду. Руки у него висели.

— Идём, — сказал он. — Ближе.

— Отец, — сказала Аглая. — Мы договорились: галерея.

— Мы договорились, что вы смотрите, — сказал Авдей. — С галереи вы уже насмотрелись столько, что назад это не убрать.

Он был прав, и я пошёл.

Аглая шагнула наперерез и встала.

— Не пущу.

— Капитан, — сказал Авдей. — Я не зову его на клирос. Я зову его на нижнюю ступень. Там стоят миряне, когда их приводят прощаться.

— С кем прощаться?

— С регентом, — сказал Авдей.

Аглая не сдвинулась.

Тогда я сделал то, за что мне ещё придётся заплатить: обошёл её. Обошёл своего капитана на чужой станции, и она этого не остановила, и я услышал за спиной, как звякнули ключи у неё на поясе — она пошла следом.

Галерея упёрлась в узкий переход, переход вывел на площадку. Мы вышли к клиросу сбоку и снизу.

Отсюда всё было другое.

Ступени были не такие, какими они казались с сорока метров. Камень на них выел ногами: посередине каждой ступени лежала ложбина сантиметров в пять глубиной, гладкая, как оплавленная. Не Строители её сделали. Её сделали триста лет подошв, шаркающих на одном и том же месте.

У стены стояла дощатая скамья — простая, из настоящих досок, с потемневшим краем. Рядом ведро с водой и жестяная кружка на нём. По камню белым была проведена черта и вдоль неё через равные промежутки — короткие штрихи. Мел. Восемнадцать штрихов. Кто-то каждый день размечал мелом, где кому встать, потому что глазами они места не находили.

Певчие стояли в трёх шагах. Я видел их лица. Обыкновенные лица, усталые, немолодые, у одного на щеке след от подушки, у другого руки в цыпках, как у нашего Тараса. Они пели и смотрели в одну точку — на Ждану.

А Ждана смотрела мимо всех.

Вблизи было видно, что она не смотрит вообще. Глаза открыты, и в них нет глаз. На месте зрачков стояло белое, ровное, чуть выпуклое, будто туда налили молока и оно застыло. Не бельмо от старости. Такого цвета делается сталь, если её греть и не дать остыть.

Она вела хор кистями рук, лопатками, всем корпусом — и головой поворачивалась к тому месту, откуда шла ошибка, точнее, чем повернулся бы зрячий.

Фраза шла к концу. Верхний ряд пошёл вверх, нижний за ним, Ждана подняла обе руки и стала сводить их — медленно, как сводят края.

Последний аккорд взяли всем составом.

Он был длинный. Он стоял, и стоял, и камень под ногами шёл дрожью, и через подошвы в колени отдавало: там, внизу, что-то заходило на место — тяжело, с натугой, как перекошенная деталь в паз.

Ждана свела руки.

Хор кончил.

И в тишине, которая после этого упала, регент шагнула назад к скамье и не попала.

Нога встала мимо ступени, вбок. Она перехватила себя, выпрямилась, поставила ногу заново — и снова не попала, и на этот раз её повело всерьёз: она села на скамью боком, тяжело, доски стукнули о камень.

Два певчих из нижнего ряда двинулись к ней. Ждана остановила их коротким движением кисти. Они встали, где стояли.

Она сидела, откинув голову к стене, и хватала ртом воздух — тот самый ледяной сквозняк из провала, — и он ей не давался. Дышала она с присвистом, коротко, часто, и белые её глаза были открыты и смотрели вверх, в двести метров, где ничего нет.

Никто в зале не двинулся. Восемнадцать человек стояли на своих меловых штрихах и ждали.

Док шагнул вперёд.

— Не надо, — сказал Авдей.

— Я врач.

— Я знаю, кто ты. Не надо.

Док остановился на полушаге, и я увидел, как у него сжалась и разжалась ладонь — та, о которую он тушит сигареты.

Авдей подошёл ко мне вплотную. Говорил тихо и не по-писаному — простыми словами, какими считают убыток.

— Тридцать первый год, — сказал он. — До неё — Веста Малая, одиннадцать лет. До неё — Илий, девять. До Илия ещё двое. Все умерли здесь, на этих досках. Глаза сгорают первыми, чадо. Их выжигает светом со шва. Смотреть надо: вести можно только глядя. Она ведёт вслепую четвёртый год.

— Она их учит? — спросил я. — Кого-то из них?

— Она учит. Только смене нельзя выучиться со стороны. — Он посмотрел на неё. — Ей не сменщика надо. Ей оператора.

— А хор?

— А хор без оператора допoeт до конца месяца, — сказал Авдей. — Может, до середины следующего. У них уже сейчас одна восьмая службы уходит на то, чтобы допевать вчерашнюю грязь. Через месяц на это будет уходить всё, и станет некому петь новое. И тогда девять струн отпустит.

— И что будет?

— То, что бывает, когда отпускают натянутое, — сказал Авдей.

Аглая стояла у меня за плечом. Она не сказала ни слова, ни ему, ни мне, и я не обернулся, потому что знал, какое у неё сейчас лицо.

Я смотрел на регента и считал не то, что велел док.

Восемнадцать человек. Девять адресов. Одна согнутая женщина с выжженными глазами, которая тридцать один год встаёт на вытертую ступень и работает за пульт, которого не видит. Четверо до неё. Триста лет.

И где-то в этом всём — Приют, где на всю нашу ораву хлеба осталось на двадцать пять суток. Рада, которой мы обещали вернуться за тридцать шесть. Шов, где отец шестой год держит своё.

И вот это.

Мне двадцать два года, и я не хочу.

Я подумал это спокойно, как думают о погоде, и от того, насколько спокойно, стало совсем нехорошо. Потому что «не хочу» — это уже был ответ на вопрос, который мне ещё не задали.

Пятнадцать часов до третьего часа утра.

Рина за моей спиной тихо сказала:

— Дан, у неё чётки на запястье. Они вытерты насквозь. Там уже верёвка одна.

— Ага.

— Я к тому, что она их не перебирает, — сказала Рина. — У неё руки заняты. Она их просто носит.

Ждана перестала свистеть.

Она опустила голову от свода и повела ею — не на звук наших шагов, потому что мы стояли, и не на голос, потому что мы молчали. Просто повела, как поворачивают антенну, пока не поймут.

И остановилась на мне.

Белое, ровное, без зрачка. Расстояние между нами — три шага. Восемнадцать певчих стояли на своих штрихах и не дышали. Сквозняк тянул снизу и шевелил край её мантии.

Она нашла ртом воздух, набрала сколько смогла и захрипела в мёртвую тишину зала:

— Кто... сменил?

Глава 8. Именослов

Я не ответил ей.

Ждана постояла ещё, повернув ко мне белое лицо, потом воздух в ней кончился совсем, и она села на скамью. Кто-то из хора подал ей ковш. Она пила долго, обеими руками, и вода текла по подбородку на мантию, и никто не вытирал.

Авдей взял меня за локоть выше сустава. Хватка у него была как у мастера, который берёт заготовку: не больно, но не вывернешься.

— Пойдём, чадо.

— Куда?

— Показывать, — сказал он. — Ты спросил у меня в галерее, откуда я знаю твою фамилию. Я тебе на это не отвечал словами.

Аглая снова заступила дорогу.

— Мы идём в кельи, — сказала она. — Команда четвёртые сутки на ногах. Утром у нас разговор с вашим настоятелем, и я хочу, чтобы мой навигатор пришёл на него выпавшимся.

— Утром у вас Чин, — сказал Авдей.

— Утром у нас разговор.

Ключи у неё на поясе звякнули один раз. Она стояла спиной к клиросу и не смотрела туда, где отпαιвали регента, и по тому, как ровно она держала спину, я понимал: она уже всё для себя посчитала и теперь торгуется за остаток.

— Капитан, — сказал Авдей. — Я не зову вас в святое место. Я зову вас в счётную. Там нет ни свечей, ни поклонов. Там книга, которую вёл не Орден.

— Кто её вёл?

— Станция.

Аглая помолчала. Потом отцепила от пояса связку и переложила её в карман, чтобы не звенела, и я понял, что она пойдёт.

Мы вышли с клироса не тем ходом, каким пришли. Авдей повёл нас низом, вдоль правой стены нефа, под самой ступенью, и двести метров пустоты остались у нас над головой. Внизу тянуло. Пение сюда доходило уже без слов, одним слитным давлением, и я держал его челюстью — той стороной, где жила.

За аркой давление кончилось.

Оборвалось разом, как отрезали. Три шага назад был неф, гул и холодная струя из шахты, а тут стоял сухой неподвижный воздух — такой тёплый, что кожа его не замечала, — и тишина без единого дна. Я сглотнул, чтобы продавить уши. Не помогло: давить было нечего.

— Служебный ход, — сказал Авдей.

Коридор был узкий, едва шире плеч Тараса, и шёл под уклон. Свет тут был такой же, как везде на Соборе: он выходил из самого камня, ровный, без источника, и от него у людей не было теней. Мы шли шестеро за рясой, и ни у кого под ногами не лежало ни пятна.

— Мне это не нравится, — сказала Рина вполголоса. — Тень должна быть. Я к тому, что я её всю жизнь вижу и никогда про неё не думала.

— Не думай и сейчас, — сказал Тарас. — Целее будешь.

На первой развилке стояли двое в сером. Стояли не как охрана, а как стоят люди, которых поставили и забыли: руки под накидками, лица спокойные. Авдей мотнул бородой, и они отступили к стене. Мы прошли, и я спиной чувствовал, что они смотрят нам вслед — и смотрят на Дорн.

Дорн шла последней. Куртку без знаков и погон она застегнула до горла, левую кисть спрятала в рукав, и протез оттуда не показывался. Оптический прибор на глазу подрагивал: она вела стены.

— Отец, — сказала она. — В коридоре есть закладки.

— Есть.

— Через одинаковый шаг. Восемь метров.

— Опоры, — сказал Авдей. — Собор стоит на девяти струнах. Всё, что вы тут видите ровного, стоит на них же.

У Аглаи в кармане глухо стукнула связка — придержала и отпустила. Тихо, через ткань, но я услышал.

Коридор кончился площадкой и глухой стеной. Стена была та же самая, чёрная, тёплая, полированная так, что рука по ней шла со скрипом, и никакого шва в ней я не увидел ни глазом, ни ощупью. Тарас пощупал тоже. Присел, провёл ногтем понизу, встал.

— Тут нет двери, — сказал он.

— Тут есть плита, — сказал Авдей.

Он вынул из рукава стержень. Обычный на вид пруток, тёмный, с локоть длиной, гладкий, без бородки, без зубцов, без единой насечки. Таким не отопрёшь и сундука: нечему цепляться. Я это видел с двух шагов и всё равно смотрел, как он вставляет его в камень.

Стержень вошёл в стену.

Не в отверстие, потому что отверстия не было. Камень принял его, как песок принимает воду, без звука и без сопротивления, и Авдей надавил на торец. Плита ушла внутрь на палец и отъехала вбок.

— Ключей у Ордена нет, — сказал Авдей, пока мы стояли. — Есть три стержня. Их не делали при мне и не делали при моём предшественнике.

Тарас сказал что-то очень тихо, себе в бороду. Я разобрал только слово «резьба».

Мы вошли.

Первое, что я понял в ротонде, я понял ногами: пол шёл вниз с еле заметным уклоном к середине, и от этого сразу хотелось идти вперёд. А потом я понял ушами. Здесь было тише, чем в коридоре. Тише, чем бывает.

Круглый зал без окон, без углов, без единого выступа. Купол сходилась высоко, метрах в тридцати. И стена, вся стена по кругу, от пола и вверх насколько хватало глаз, была исписана.

Столбцы. Сверху вниз, ровными вертикальными жилами молочно-белого свечения, и каждая жила — знаки, знаки, знаки, мелкие, в ноготь, врезанные в чёрное. Столбцов было столько, что я бросил считать на третьем десятке и понял, что считать надо не столбцы, а обороты глазами по кругу.

Рина остановилась на пороге и не пошла дальше.

— Это склад, — сказала она.

— Что?

— Ну гляди. — Она подняла руку и повела ею по стене, слева направо, как ведут по описи. — У нас на верфи так писали бирки. Столбик, столбик, столбик, каждый на свою полку. Тут короче, тут длиннее, а вот это через каждые... — Она сбилась. Вытащила из хвоста заколку-антенку, покрутила и воткнула обратно. — Не через каждые. Ладно. Я не понимаю, я вру.

— Ты не врешь, — сказал Авдей. — Ты просто читаешь спину книги.

Аглая обошла нас и встала посреди зала, где сходилась уклон. Огляделась снизу вверх и обратно.

— Сколько тут имён?

— Никто не считал, — сказал Авдей. — Я пробовал. Дошёл до трёх тысяч на одном простенке из двадцати восьми и бросил, потому что понял: за то время, что я считаю, прибавляются новые.

Док достал пачку. Плоскую, сплюсненную, пустую уже который день. Открыл, поднёс к лицу, понюхал фольгу изнутри, закрыл и убрал.

— Отец, — сказал он. — Вы сказали «книга». Кто пишет?

Авдей не ответил. Он повернулся ко мне и ждал.

Я шагнул к стене.

До неё было шагов пять, и я прошёл их медленно, потому что чем ближе, тем хуже было глазам. Свет от камня шёл ровный, со всех сторон сразу, ни одна буква не отбрасывала тени на дно своей же прорези, и от этого знаки плыли и рассыпались. Я закрыл глаза, подержал, открыл. Стало хуже.

— Не смотри так, — сказал Авдей у меня из-за спины. — Так это читали триста лет и ничего не прочли.

— А как?

— Ты знаешь, как.

Я знал.

Правой рукой я не работаю с той двери на Мёртвом меридиане. Она лежала в косынке, сухая и серая, как чужая деталь, которую возят с собой, и ей было всё равно, куда её несут. Я поднял левую и положил её на камень между двумя жилами.

Тёплый.

— Пульс, — сказал док.

— Потом.

— Сейчас.

Он поймал моё запястье, глядя на свой хронометр, и я стоял и ждал, пока он отсчитает шестнадцать ударов, и всё это время смотрел на стену в полушаге от лица.

— Сто четыре, — сказал док. — До Ключа. Дан, у тебя сто четыре, когда ты просто стоишь.

— Считай.

Я открыл Ключ.

Это уже не больно так, как было в первый раз. Это делается коротким усилием, каким прочищают ухо на глубине, и потом мир стоит на месте, а поверх него встаёт ещё один. Стена не изменилась. Изменилось то, чем я на неё смотрел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.